|  |  |
| --- | --- |
| Несогласный ТеодорИстория жизни Теодора Шанина, записанная Александром Архангельским |  |

Теодор Шанин — выдающийся человек. Крупный, яркий, энергичный, он прошел через войны и распады государств, создал один из самых ярких российских университетов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, причем в зрелом возрасте; перелистнув XX век, легко шагнул в XXI столетие и прописался в нем. Сюжет его жизни головокружителен. С суждениями Теодора Шанина можно соглашаться или не соглашаться (несогласие с несогласным — милое дело), но не чувствовать, что рядом с тобой — человек Большой Истории, нельзя.

При поддержке фонда «Либеральная миссия» мы с Татьяной Сорокиной записали много часов видео, и этот проект еще будет представлен публике. Но шанинский рассказ столь ярок, что просто глупо было бы не превратить его в автобиографическую повесть. В тексте сохранены некоторые чудесные особенности шанинской речи — чуть-чуть, вкраплениями, без перебора, поскольку Теодор — человек не только многих гражданств, но и многих языков; этот аромат многое добавляет к рассказу.

*Александр Архангельский*

# Глава 1. Виленчанин

Когда меня спрашивали: «Ты откуда родом?» — у меня всегда была проблема, как ответить. И в конце концов сложился такой речитатив: мой отец родился в России, моя мама родилась в Германии, я родился в Польше, при этом мы все родились в одном и том же городе, который теперь является столицей Литвы.

Если проще и конкретнее, я родился в Вильно, нынешнем Вильнюсе. В 1930 году то был губернский город Польши, половина населения которого ощущала себя евреями. На юге Польши были евреи, которые определяли себя как поляки еврейской религии, а в Вильно местные евреи бесились, когда кто-либо смел так их называть. Потому что в своих глазах они были евреями с большой буквы. Город был столицей миснагдим, или литваков — тех евреев, которые вслед за виленским гаоном, то есть гением из Вильно, который считался и святым, и самым умным, и самым великим, оказали в XVIII веке сопротивление хасидскому движению, как и ассимиляции.

Гаон по имени Элияху бен Шломо Залман был не только главным теологическим авторитетом, но и блестящим математиком, то есть человеком, склонным к рациональному мышлению. И когда мы говорили «наши», то это значило «евреи, но не хасиды». Над хасидами посмеивались. Они танцевали, когда молились. Они пели во время молитвы. Что миснагед считал невероятно неприличным и глупым. А еще считалось, что хасиды не умеют защищать свою еврейскость. А как ее защищать? Надо драться с польскими антисемитами. Хасиды не умели драться как надо, а виленчане дрались отлично. И еще они не принимали мистическое мышление, которое выражала каббала, и всякое такое прочее. Они считали, что настоящая религия — это Талмуд, свод правил. То есть быть по-настоящему религиозным — это изучать и знать право. И раввин для них был советником по праву, а не представителем святости. Миснагед нес личную ответственность перед Богом за свое поведение и свои взгляды.

Это, конечно, создавало такую жесткую пуританскую религию. Миснагеды были, так сказать, еврейскими пуританами, что я понял куда позже, когда увидел настоящих пуритан. И вели себя предельно ответственно. Купцы из Вильно не подписывали договоров, потому что, если человек сказал слово, он его будет соблюдать. Мой отец гордился, что никогда не подписал векселя. Кстати, слово «миснагед» значит на иврите «несогласный». Так что я — из несогласных.

Маму мою звали Ребеккой Яшуньской. Это звучит совершенно как польская дворянская фамилия. Причина, по-видимому, в том, что евреи, работавшие на польское дворянство, часто, когда начали раздавать фамилии, принимали фамилию человека, который был хозяином земель. (Есть место недалеко от Вильно, которое называется Яшуны.) В семье говорили на нескольких языках — что, между прочим, было довольно нормально для средних классов Вильно. Мать кончала польский университет и всем языкам предпочитала польский. И так как она командовала домом, то именно она решила, что я должен говорить совершенно без акцента и блестяще на польском языке, потому что это язык из страны, в которой я живу.

Характер у нея был жестким и сильным. Она была моложе отца на тринадцать лет. Что в ея социальном классе считалось нормальным: у богатого человека должна быть молодая, красивая жена. Экстраординарным было другое: в ея поколении замужние женщины не ходили в университет. Она в этом отношении представляла собой редкое исключение.

Дед говорил блестяще по-польски: он вообще был очень хорошим лингвистом; позже, когда в город пришла новая литовская власть, он был единственным членом нашей семьи, который в течение года выучил литовский. Отец всегда предпочитал русский. Так как был в русском университете в Петербурге и всякое такое прочее. Звали его Меер Зайдшнур. «Зайд» — это, конечно, и по-немецки, и на идиш «шелк». А «шнур», как и на славянских языках, — «шнурок». Что, по-видимому, определяло, чем занимались праотцы. Потому что вся его семья была «в текстиле».

Главной в семье моего отца была его мать, которую я никогда не видел: бабушка умерла до того, как я появился на свет. Ее знало все еврейское Вильно. Родители моего деда по отцу, когда он начал взрослеть, поняли, что он по понятиям Вильно будет никудышник. То есть человек, который не умеет заниматься бизнесом. И что когда они умрут, он разбазарит все, что семья собрала. И они сделали то, что в таких случаях купеческая семья умела всегда делать, во всяком случае, в Вильно. Они вызвали свах и свахам объяснили, в чем дело.

Свахи взялись за работу и нашли нужную невесту, мою бабку, которая девчонкой осталась без отца и забрала управление домом из рук безвольной матери. Выйдя замуж за деда, бабка сумела поставить дело так, что с временем все четыре ее сына смогли создать собственные бизнесы, а все три дочери имели достаточно денег для «надана» и хорошего замужества. Потому что, когда бабушку сосватали с никудышником, она сразу поняла свою задачу. Средней величины магазин текстиля превратила вскоре в целую текстильную империю. Она говорила свободно только на идиш, языкам ее не учили. Но она могла объясниться на всех языках, ездила в Берлин, в Петербург покупать товар.

О ней слагались легенды, которые до меня, конечно, дошли.

Одна — о том, как она вернулась откуда-то с товаром (скажем, из Берлина, где были отменные ткани) и стоит перед ним в магазине. Ее главный приказчик вытянулся перед ней с записной книжкой, чтобы записывать инструкции, остальные приказчики бегают вокруг, взвешивают. И она громко рассуждает: если мы поставим пять рублей за эту ткань, для меня будет обидно. Поставить семь рублей — покажется обидно клиентам. Ставьте четырнадцать. И продавала.

Согласно другой легенде, к ней ходили часто с просьбой дать деньги на бедных. Ну, скажем, есть хорошая небогатая девушка и есть молодой человек, у которого ничего нету, если не помочь, они не смогут жениться. Она выслушивала просьбу, все в деталях расспрашивала, потом говорила: «Хорошо, я должна посоветоваться с своим мужем», выходила в пустую комнату, возвращалась и говорила: «Мой муж согласен».

Город знал это. Она была героиней виленских купцов, во всяком случае, текстильных. Они часто приходили к ней за советом. Умерла она рано, в пятьдесят с чем-то; никудышник-дед прожил до восьмидесяти пяти и умер от воспаления легких. Мой отец был младшим сыном и, когда пришло время делить дело после смерти матери (не передавать же никудышнику), вернулся из Петербурга, благодаря чему выпал из революции.

К тому времени, когда я помню отца, он был одним из богатых купцов города; особенный успех ему принесло то, что он стал монополистом продажи галош. На Виленщине крестьянин носил войлоковые валенки. Пимы твердые, валенки мягкие, их надо носить с галошами. А виленчан было три миллиона, из которых два с половиной миллиона — крестьяне, и галоши продавали в своих лавках местные еврейские купцы, предпочитавшие работать с еврейским гуртовиком. То есть человеком, который получал крупные партии от заводов и перепродавал.

Прежде чем стать богатым человеком, он был членом эсеровской студенческой организации в Петербурге. Участвовал в тех группах, которые пошли в войска уговаривать их перейти на сторону народа. Очень гордился этим. Но когда он приехал в Вильно, конечно, ситуация изменилась; с одной стороны, он вернулся в семью богатых купцов, с другой, всей душой принял сионистическое движение, стал его вожаком, членом партии общих сионистов, то есть сионистом-либералом.

Деда по матери звали Григорий Яшуньский. Он выглядел как пенсионированный полковник русской армии. Крепкий. Усатый. Бритая голова. Одно из самых сильных впечатлений самого младшего моего детства — когда он выходил со мной на улицу прогуляться и вынимал небольшую такую коробочку. Открывал ее. Там была маленькая щетка и черная краска. Он проводил ею по усам. И это была, конечно, очень важная минута, знак, что мы выходим прогуляться.

Дед был Яшуньский. Мать — Яшуньска. Отец — Зайдшнур. Почему же я — Шанин? Самое простое (но неполное; полного вам придется подождать) объяснение заключается вот в чем. Никто, кроме поляков, не мог правильно произнести или написать мою фамилию. Что мешало. Особенно трудно стало, когда я приехал в Англию изучать работу разных социальных министерств Великобритании. И ежедневно меня встречал у такси молодой человек, младший чиновник, и пытался выговорить мою фамилию. Причем глядя в бумажку. Сбивался не меньше трех раз кряду, просил его извинить и подсказать, как это звучит. Я произносил: «Зайдшнур», он почтительно открывал дверь и говорил: прошу, господин... После чего запинался, краснел и всякий раз выборматывал непонятное.

Я злился, но не мог ничего изменить, потому что отец очень гордился своей семьей, своей фамильной историей. И лишь когда он ушел к праотцам, я решил, что вот: настало время. Нашел знакомого, который работал в Академии языка иврита. И сказал: вот, видишь, я ума не приложу, как себя назвать. Его предложение — Шани. Почему Шани? Потому что «шани» — это «пурпур». Пурпурный цвет на иврите. И это как-то связывалось, на его взгляд, с фамилией, в которой были «шелк» и «шнурок». На что я возразил: мы не украинцы. И у нас ничего на «и» не может кончаться. Я начал добавлять по одной букве в конце для проверки. Шанис, Шанир, Шанин, Шанинов. В конечном итоге Шанин прозвучало прилично. Я открыл телефонную книгу Тель-Авива, посмотрел — никаких Шаниных. Потому что новых родственников я не хотел. И написал письмо в Министерство внутренних дел, что вот, прошу изменить мою фамилию на Шанин. И стал Теодором Шаниным.

Мама была нерелигиозной, как и отец. За тем единственным исключением, что она зажигала свечи при встрече субботы. То есть для нея неким подобием религиозного переживания было воспоминание о мертвых. И оно, переживание это, со временем даже усилилось, когда количество мертвых в семье начало увеличиваться изо дня в день после того, как немцы вошли в город.

Что же до самой субботы, то ее соблюдали, в главном из-за деда, который был глубоко религиозен. Семья собиралась за общим столом в нашей большой квартире, чтобы вместе обедать, и всегда были гости. Представители высокопоставленных семейств, университетские друзья матери, разные люди, с которыми были дела у отца, его политические друзья, артисты, писатели, поэты, писавшие на идиш, — эту артистическую часть называли «Молодое Вильно».

Моя бонна сидела около меня, чтобы присматривать за моими манерами. Я же был не просто мальчиком: я был паничем. (Не знаю, каким бы я вырос, если бы это так и осталось. Но это — не осталось.) За столом я молчал. То есть я никогда не проронил слова за весь период моего сидения за этим столом. А они меж себя говорили, что, конечно, влияло на меня и учило меня разным вещам, включая идиш и русский язык, который за столом иногда звучал. Спустя десятилетия я начал приезжать в СССР и оказался в Вильнюсе, столице Советской Литвы. Выступал в Институте экономики сельского хозяйства. Они мне задавали вопросы, я отвечал. Вдруг одна дама подняла руку и спросила: «Если можно, у меня не аграрный вопрос. В чем секрет вашего прекрасного русского языка?» На что я ответил: «Ну, секрета нет. В этом зале я — единственный виленчанин». Было какое-то мертвое молчание. Я про себя подумал, что напрасно так пошутил, не надо было так резко бить их по больному месту: самое обидное, что можно было сказать литовцам, — это напомнить, что Вильно — не их город. Но вдруг кто-то засмеялся. И следом за этим раздался взрыв хохота.

Кстати, у меня была русская няня из эмигрантов, дочка какого-то высокого офицера. Многие из тех, кто бежал из России, осели в Вильно, потому что там можно было говорить свободно по-русски, город был многоязычный. Мать рассказывала, что няня в какой-то момент заявила, что уходит от нас. Мама всполошилась, потому что это была прекрасная няня, трудно было такую найти. Спросила: почему, что произошло? Вам недостаточно плотят? И та сказала: я не могу оставаться, потому что панич меня ударил. На что мама кинулась на меня: ты что, ударил няню? Я ответил:

— Ты сама сказала, что, если тебя атакуют, нужно отбиваться.

— Ты что, хочешь сказать, что няня тебя ударила?

— Нет, но она гневалась на меня, и это выглядело, как будто бы она может меня ударить.

Мои родители, повторюсь, были не религиозны, но либеральны. И либеральны также по отношению к религии. Поэтому они решили, что я должен знать еврейскую религию, как полагается. И передоверили меня моему верующему деду. Дед меня забирал в синагогу. Он мне объяснил, что такое еврейскость, что такое еврейская религия. А еще он часто мне рассказывал отрывки истории русской, которую он изучал, по-видимому, в школе. И отрывки истории еврейской. Рассказывал так, как будто это сказки. Я спустя годы вдруг сообразил, что это не сказки, а история, легенды исторические. А первая книга, которую я сам прочел, была тоже связана с историей — биография Наполеона Бонапарта. Мама как раз тогда готовилась к экзаменам на звание магистра Виленского университета. Она с коллегами сидела за рабочим столом, а я лежал на полу, на коврах, и, чтобы меня занять чем-то, она мне дала ту книгу.

И сам Вильно — он тоже был наглядным пособием по истории. Литовской, польской, еврейской. В тот мой приезд в советский Вильнюс, когда я резковато пошутил насчет единственного виленчанина, я пообщался с заместителем директора по науке Казимирой Прунскене, будущим первым премьером независимой республики. Я звал ее «доктор Прунскене». Она в благодарность за прочитанную лекцию предложила мне показать Вильно. Я ответил:

— Буду благодарен. И я бы захотел начать с гроба сердца Пилсудского.

Она изумленно на меня посмотрела:

— Какого гроба? Откуда в Вильнюсе быть гробу Пилсудского? Пилсудский похоронен не здесь.

Я сказал:

— Да, он лежит в Кракове, но его сердце похоронено здесь.

И подробно рассказал ей о завещании Пилсудского; о том, как его сердце временно замуровали в крипте церкви Святой Терезии, а потом перезахоронили вместе с гробом его матери на кладбище Росу в Вильно.

Русские войска вошли в Вильно дважды. Первый раз в сентябре 1939-го, когда они ударили в спину остаткам польской армии, которая еще отчаянно сопротивлялась в Варшаве и в других местах. Вошли, конечно, без боя, так что это была минута великого удивления всех виленчан. Мы были в войне с немцами, и вдруг русские танки вошли. Это было совершенно неожиданно. Из этого периода, продлившегося примерно два месяца, запомнилось, во-первых, что отец исчез из дома: в семье боялись, что его арестуют как буржуя, и поэтому прятали. И во-вторых, что нам в квартиранты послали политрука высоких рангов.

Он жил в моей детской комнате и был необыкновенно вежлив, спокоен, умен. Не только у меня, у всей семьи остались необыкновенно позитивные впечатления от этого человека. И в какой-то момент мама рассказала ему, что какие-то жены офицеров купили себе ночные рубашки и решили, что это вечерние туалеты. И вышли в этих вечерних туалетах на улицу Мицкевича, главную, прогуляться. И город, конечно, смеялся вовсю. Используя возможность посмеяться над русской оккупацией. Он как-то очень невесело хмыкнул, задумался и ответил. Я этот ответ запомнил. Я его тогда не понял, но понял позже:

— Мы танки строили. Вы танго танцевали.

Столь же неожиданно Красная армия ушла — после того, как было принято решение передать Вильно литовцам и продемонстрировать, что все произошедшее не было атакой на Польшу, а справедливым воссозданием законных границ. Они отдают литовцам то, что было их. Забирают себе Западную Белоруссию и Западную Украину. Но через два месяца, когда русские танки выкатились, литовцы пришли не сразу. Тут же родилась шутка: это потому, что единственный танкист литовской армии простудился. Это, конечно, поляки придумали. Но вообще виленчане любили пошутить насчет самих себя и насчет других, поэтому шутку подхватили.

Через год русская армия появилась опять. Нам объявили позже, что по просьбе жителей Литвы Советский Союз решил их освободить. Я был на даче с мамой, когда над городом вдруг появилась масса самолетов. Они летели к Виленскому аэродрому. Очень хорошо помню этот момент. И еще я помню — и буду помнить до конца жизни — огромный плакат, который висел на каждой стене в Вильно. Очень мускулистая рука, которая сжимала шею гадюки. На гадюке было написано «Буржуазия». А на руке — «Пролетариат».

В течение трех дней нас национализировали, отобрали и завод, и магазины огромные. Мы переехали в более скромную квартиру. Нас выбросили из той квартиры тоже — ее передали приезжающим советским чиновникам. Тогда мы переехали в предместье Вильно, в небольшой дом; и все население вокруг дома было польское. То есть там не было ни одного еврея. Я как-то застал свою сестру, которой тогда было три года, за тем, что она бросает в соседских девочек кирпичи, довольно крупные.

Я ее спросил:

— Ты что делаешь?

— Они меня обижают.

— Как они тебя обижают?

— Они говорят, что я еврейка.

Мне пришлось ей объяснить, что она и впрямь еврейка и что это не обидно, а, напротив, очень хорошо. Даже блестяще. И она перестала кидаться кирпичами.

До тех пор — это было твердое решение родителей — я ходил в ивритскую школу. Где практически все давали на иврите — математику, химию и так далее. И вот из лучшей, мощнейшей школы, входившей в образовательную сеть «Тарбут», я попал в рядовую польскую школу, да еще в предместье. И в первый же день меня зверски избил какой-то ученик из второгодников. Он был больше меня раза в два. Я отбивался, но не помогало, так как он даже не чувствовал моих ударов. Я вернулся домой, залитый кровью. Отец спросил, что такое. И я объяснил. Он ринулся к директору. На что директор ответил, я это помню хорошо: «Я очень сожалею, господин Зайдшнур, но я не смогу защитить вашего сына».

С этим мы вернулись домой. Родители советовались при мне. И решили, что я должен переходить в идишистскую школу (ивритские сразу закрыли). По крайней мере, меня не будут бить за то, что я еврей. Проблема заключалась в том, что я не знал идиш достаточно. Кое-что понимал, но не больше. Поэтому мне наняли учителя, который со мной работал ежедневно и за хороший ответ давал мне почтовую марку — я их тогда собирал. И еще была проблема — школа находилась в городе, а мы жили в предместье. Я бежал за автобусом, ехал и после этого шагал через часть города, пока добирался до школы.

И тут выяснилось, что бывают проблемы другого порядка; к ним мы оказались не готовы. Моим одноклассникам объяснили, что есть классовая борьба, в которой пролетариат при помощи Красной армии победил буржуазию. И что это очень хорошо, будущее будет еще более блестящим. Ну, для мальчишек в моем возрасте (мне тогда было лет девять) классовая борьба выражалась кулаками. И для классовой борьбы был нужен буржуй, каковым я и оказался.

Там, конечно, было еще несколько учеников из моей бывшей школы, но они как-то растворились; они не вели себя как миснагдим. А я вел себя как миснагед. То есть с ходу отвечал на все обиды кулаком. И начался такой период, когда я дрался все время. И отстаивал свои взгляды. Отца однажды вызвали в школу и пожаловались, что на выкрик «буржуй» я ответил польским присловьем: где вода бежала, она побежит опять. В смысле — прошлое вернется. И директор школы сказал отцу: «Из-за него нам закроют школу, а вас посодят за такое. Ведь он кричит, что кончится советская власть!» На что отец дал мне первую серьезную лекцию о политических отношениях. Я перестал выкрикивать опасные лозунги, но продолжал драться, конечно.

При том при всем я оказался лучшим учеником в классе, хотя в прежней школе, «Тарбут», был худшим учеником в школе. Оглядываясь назад, я думаю, что дело отчасти заключалось в том, что отец был почетным президентом «Тарбута» и я знал, что меня не могут тронуть. Я совершенно спокойно продолжал приходить в класс с пятью двойками. Мама нанимала репетиторов, делала все, что возможно. Ни в зуб ногой, ничего не помогало. А тут я стал ведущим учеником. С ходу. На языке, который я как следует не знал. До сих пор помню, как я отвечал на какой-то вопрос по-польски. Учитель говорил: «Хороший ответ, но повторите на идиш». Я, напрягаясь, пробовал находить слова на идиш.

Так продолжалось до июня 1941 года. Однажды утром я открыл глаза — меня будила мама. И сказала: «Вставай, одевайся быстро». За ея спиной стоял солдат с винтовкой и большим штыком. И этот штык я распознал с ходу как не наш. Потому что у поляков были штыки как ножи, а у тогдашней Советской армии — скорее как трехгранный клинок. Мама сказала: «Одевайся быстро, нас высылают». Я переспросил: «Высылают?» — не совсем понимая, в чем дело. Она подтвердила: «Да. Одевайся быстро, тебе придется мне помогать».

И я помогал собирать вещи, всякое такое прочее. В доме было четыре чужих человека. Двое в гражданском — более высокие чиновники — и два солдата. Чиновники были не наши. То есть не виленчане. Их прислали, ясно, для операции. Теперь, оглядываясь назад, я знаю, что очищали границу в то время от буржуазии. К счастью, они не раскопали, что отец был не только буржуем и лидером сионистов, но и эсером. Потому что всех, кто в свое время был в русском революционном движении, главным образом бундистов, арестовали и многих потом расстреляли. Но им в голову не пришло, что буржуй мог быть в свое время эсером. И его выслали особым эшелоном в Свердловскую область, в лагерь. А нас другим эшелоном — на спецпереселение.

Дату буду помнить всегда. 14 июня, 1941 год. Неделя до начала войны, о чем мы, разумеется, тогда не могли и догадываться. И тогда произошел спор, который многое решил в жизни моей семьи. Солдаты молчали, а двое в гражданском говорили с матерью по-русски. Даже не говорили, а болтали. Отношение к нам было хорошее — несмотря на то, что они пришли нас арестовывать. Особенно нежно они отнеслись к моей сестре, которой было четыре. Ну, она была красивым ребенком, и ей очень нравилась вся эта ситуация. Они проявили сентиментальность, отозвали родителей в сторону и сказали: вашей дочери нет в нашем списке. Мы вам не скажем, куда вы поедете, но едете далеко. И там будет очень трудно. Быть может, не выдержит ваша девчонка. Если хотите, можете ее оставить. Мы как бы не заметим.

После этого при мне шел спор между матерью и отцом. Мама сказала: ни под каким предлогом. И так нас разделяют, тебя забирают. А отец сказал: это дело жизни и смерти. И как-то эти слова — «жизни и смерти» — потрясли маму. И меня отправили в город отыскать деда. Город странно выглядел, потому что сновали туды-сюды машины со станции. То есть свозили людей к поездам, к эшелонам. Я с трудом нашел деда, сказал ему, что происходит. Он ответил: хорошо, я иду с тобой. Собрал Алинку. Ее, между прочим, звали Алия, что значит «эмиграция». А меня — Теодор, как Герцля — создателя сионистического движения. Мы были детьми вожака сионистов…

Собрал — и увел к себе, думая, что спасает.

А нас подвезли к эшелонам. Это был такой эшелон, который русские хорошо знают как «сорок людей — восемь лошадей». Такую штуку создали в Первую мировую войну, чтобы перебрасывать армию. В вагоне было человек тридцать. Я был самым молодым. И поэтому мне отдали место у окошка, через которое я мог видеть людей.

Мы вскоре тронулись с места и поехали на север — я судил об этом по тому, какие станции мелькали. И вдруг что-то произошло. Во-первых, стало темно на станциях. Во-вторых, поезд наш повернул и пошел на восток. И мы увидели надписи «Наше дело правое — мы победим». Война. Но было неясно, с кем, — и это взрослые обсуждали меж себя. С японцами или с немцами. Дня через три появился какой-то плакат с немецким оккупантом, и тогда нам стало плохо. Потому что Вильно был на границе. И было ясно, что немцы войдут быстро. Они и вошли — на третий день.

У некоторых виленских евреев были иллюзии, особенно у моего деда, свободно говорившего по-немецки. Они считали немцев единственной цивилизованной нацией в Европе. Где уж русским до них! А полякам! Так что иным казалось, что цивилизованная нация входит. Немцы же были в Вильно во время Первой мировой войны, просидели в нем несколько лет, и все было очень хорошо. Порядок был. Так что чувства, что начинается что-то ужасное, у большинства не было. Отец, может быть, немножко больше других понимал, что такое нацизм, но он с нами не ехал.

Позже мы узнали, что у деда была всякая возможность уйти на польскую сторону. Он говорил свободно по-польски. Он не выглядел на еврея. С ним была девчонка, блондинка с голубыми глазами. У него были друзья среди польских дворян, с которыми он вел дела по водочному производству, — они поставляли ему картошку, пшено для перегона. Казалось бы, можно было уйти. Но он остался в городском гетто. А позже ситуация ужесточилась, уже нельзя было уходить. Он прятался у своей бывшей прислуги, еврейки. Это мы узнали позже, когда вернулись в Вильно — и стали искать его и сестру.



# Глава 2. Посланник Иегуда

Эшелон, в котором ехали высланные, соединил несоединимых людей. Здесь были польские чиновники, еврейские купцы и ремесленники, в жизни они пересекались друг с другом редко или же никогда. У них даже языки были разные, но в эшелоне все говорили по-польски. Отношения в этом странном коллективе были очень хорошими. Говорили про войну, про семьи, которые остались где-то вдалеке, и особенно много говорили про Вильно.

Еще несколько вещей осталось в памяти с тех дней.

Во-первых, монотонный выкрик: «Один человек — два ведра, один человек — два ведра, один человек — два ведра». Это была наша стража. Когда приходило время кормежки, они шагали вдоль эшелона, выкрикивая: «Один человек — два ведра». Из вагона выскакивал кто-то из мужчин с ведрами, и нам выдавали еду. Каша и суп — ужин. Каша и чай — завтрак и обед. Вторая вещь, которую я навсегда запомнил, — это, знаешь, как мгновенный снимок со вспышкой. Снапшот. Поезд очень медленно проходил мимо совершенно пустой станции. Висела единственная лампа, которая качалась на ветру, и стояла женщина. В тяжелом таком кожухе, который у нас крестьяне носили. Вагоны словно дефилировали перед ней. И она крестила вагон за вагоном. Ясно, что она знала, куда нас везут. И ясно: она делала то единственное, что можно было для нас сделать. Спасибо ей.

Мы ехали примерно четыре недели. В конце концов нас высадили на Алтае, в Рубцовске, где на несколько дней оставили на вольных хлебах. Сообщение о нашем прибытии, по-видимому, еще не дошло, и мы были совершенно свободны. Границы были на расстоянии много тысяч километров — не убежишь. Нас беспрестанно окружали люди, которые спрашивали, какие мы, откуда мы, зачем мы. Мы были одеты по-другому, лучше, по понятиям местного населения. У нас были всякие богатства, которые можно было попробовать выменять.

Мы с мамой впервые попали в типичную столовку железнодорожных станций тех времен. Очень грязное помещение с людьми, сидящими в тяжелых одеждах и кушающими. Большой плакат «Не курить». И под этим плакатом сидел директор столовой с огромной самокруткой, от которой вверх поднимался дым, к этой надписи «Не курить». Мы там три-четыре дня оставались, в течение которых в столовке ежедневно выдавали меню с разными названиями пищи, хотя на самом деле мы получали совершенно то же. Это меня смешило, хотя обстоятельства не очень-то располагали к смеху. Мы напряженно искали информации про войну. И, конечно, добрались до местной газеты и радио. Из них мы узнали, что бои идут уже вблизи Смоленска. Было ясно, что немцы в Вильно. Мне было уже десять, я вполне понимал, как это опасно, хотя идея, что кто-то вырежет всех евреев города, была далека. Пугал сам факт, что немцы, чужие, вошли в наш город и что еще одна армия заняла Вильно. Дед, конечно, крепкий мужик, он всегда справится, но что с сестрой? Я попробовал ободрить маму, что не очень получалось.

Наутро после нашего приезда появился руководитель НКВД Рубцовского района. Для него поставили стол, он на него с трудом залез, чтобы его было видно и слышно; помню эту пьяную рожу человека, который только что встал с похмелья. Его окружили его люди, лицами и одеждой на удивление схожие с ним. Он выступил с речью:

— Вы думаете, что вы здесь на день, на месяц, на год? Вы здесь навсегда. И сдохнете здесь.

С тем он сошел со стола.

Далее спецпереселенцев расфасовали: мы с мамой попали в группу из 25 человек, половина евреи, половина поляки, которых отправили грузовиком в Большую Шелковку. Там нас никто не ждал. Нам сказали: сами ищите, где жить.

Мы пошли искать. Нашли хозяйку по фамилии Коновалова. У нее был свой дом, а еще она присматривала за двумя пустующими домами; один, как я понял, принадлежал сосланным кулакам, другой — молодой паре комсомольцев-телеграфистов, которые ушли добровольцами на фронт. У обоих была бронь, то есть право не попасть под мобилизацию. Но они уходили добровольцами на фронт и приехали, чтобы сдать свой дом.

Наших мужчин с ходу послали на лесоповал, так распорядился отвечающий за нас член партийной ячейки Овсянников; он был из комбедовцев и, по рассказам соседей, застрелил мужа Коноваловой; в селе его боялись и ненавидели.

Матери помогло то, что, когда в Вильно вошли советские войска, она предусмотрительно окончила курсы кройки и шитья. В Шелковке маму определили в местную пошивочную артель и назначили закройщицей, что сделало ее руководительницей этой организации.

Мама решила, что я должен научиться говорить свободно по-русски, но ей сказали, что школа спецпереселенца не примет. Тогда она собрала вокруг меня круг товарищей из местных мальчишек. В результате родилась семейная шутка: через два месяца все они говорили свободно по-польски, а я не сумел заговорить по-русски. На самом деле, конечно, это улучшило мой русский очень серьезно. Я начал говорить, а не только понимать.

Мы ели хлеб, покупаемый в сельпо, но главным блюдом были картошка и грибы, которые мы собирали. В селе был маслозавод, который масло отсылал в город, но закваску от него продавал на месте — мы добавляли ее в суп. Серьезные холода еще не начались, и мы не голодали. Главным моим занятием стало мечтать. Я уходил глубоко в степь и мечтал о том, что будет, когда все это кончится. Я выработал, как понимаю теперь, очень реалистический план. Решил, что мне придется оставаться в Большой Шелковке до шестнадцати лет, когда я стану достаточно крепок, чтобы бежать. Решил, что бежать надо будет не к железнодорожной станции, потому что меня будут ждать, но в сторону китайской границы. Позже, спустя много лет, я развернул карту, посмотрел: вот черт, совсем приличный план, взрослый не сделал бы лучше.

Но бежать не пришлось, нас отпустили. С началом войны советские дипломаты кинулись к англичанам просить помощи. Звучит смешно, потому что советская сторона довольно долгое время была близким союзником немцев, посылала им минералы, зерно и много другого. А с Англией отношения были построены на чудовищной пропаганде, объясняющей советскому населению, какие англичане подлецы. Но к моменту, когда мы прибыли в Большую Шелковку, англичане уже были в большом почете. С ними шли переговоры, в которых обе стороны, и русские, и англичане, очень хотели прийти к согласию.

Когда дошло до вопроса о помощи оружием, англичане сказали: они ведь вступили в войну из-за Польши. И если русские это быстро забыли, то англичане — нет. И Черчилль первым делом выставил условие: вы должны признать независимость Польши. На что мы согласились. А вторым делом Черчилль поддержал главу польского правительства в изгнании Сикорского, у которого два брата тоже были генералами польской армии и находились в русском плену (он еще не знал, что они оба были убиты в Катыни). И потребовал немедленного освобождения всех польских граждан на территории СССР, в том числе бывших граждан.

В результате к нам прибыл чин НКВД и объявил, что нас освобождают. От нас требовалась только одна вещь: сказать, куда мы хотим ехать. Нам не разрешалось ехать в города первой категории, то есть в столицы союзных республик. Во всем остальном мы свободны в своем выборе. При этом он нам советует выбрать место подальше от фронта.

Мы все, спецпереселенцы Большой Шелковки, собрались обсудить, что делать.И раскололись в выборе — по этнической границе. Этнические поляки решили, что останутся на месте, потому что неизвестно, что может ждать вдалеке, да и холода приближаются. Евреи решили ехать на юг, поближе к теплу. Но куда именно? Меня отправили найти учебник географии для пятого класса. Я нашел его у друга Стасика, который был сыном колхозного бухгалтера. Притащил эту книгу, и мы сели ее читать. После длинных разговоров и размышлений решили выбрать Самарканд. Почему Самарканд? Потому что была книга Александра Неверова, переведенная на польский, — «Ташкент — город хлебный». В Ташкент нам не разрешалось, потому что он был столицей, но вторым по величине городом Узбекистана был Самарканд. Тоже, наверное, хлебный город.

Прошли переговоры с железной дорогой, которая согласилась сдать нам теплушку и подписать договор об ее употреблении. Мы продали значительную часть своих текстильных запасов, сняли вагон, который прицепили к линии Турксиба, и отбыли в Самарканд, где к тому времени уже организовалось представительство польского правительства за границей, которое называлось Делегатура.

Ехали медленно, дней пять.

В Чимкенте подошли к нашему вагону двое виленских евреев, ранее приехавших в эти края. Спросили, не прихватим ли мы их до Самарканда. Мы согласились, и под стук колес пошел такой типично виленский разговор: кто вы, кто были ваш отец, дед, с кем учились. Они распознали мою маму по фамилии, хотя не знали ее лично. Вы бывшая Яшуньска? Ну конечно, ну конечно. С Рудницкой улицы, не так ли? Да-да-да.

И перед высадкой в Самарканде эти двое предупредили: у нас тут есть также виленчане. Мы пришлем к вам некоторых, они вас знают. Через несколько часов появилась семья Сидлиных, которых я помнил с детства. Они предложили: давайте к нам, мы живем в нескольких километрах, сможете у нас переночевать. Ну, мы прожили у них на полу несколько дней. Нам объяснили, что для таких, как мы, работы нет, многие живут тем, что продают вещи или занимаются нелегальной продажей хлеба. Этим занимались и они. А если ты спекулируешь хлебом, тебе нужен тот, кто не пойдет в милицию; доверенность приходит от одного к другому.

Они ввели нас в сеть «занимающихся хлебом». Трое бывших спецпереселенцев, прибывших за три месяца перед нами, стали директорами трех магазинов хлеба, который выдавался только по карточкам. Ты предъявлял карточку, продавцы срезали часть ея — ту, где были напечатаны даты. И регулярно появлялась комиссия, которая проверяла соотношение между полученным хлебом и предъявленными карточками. Квадратики с датами должны были сжигаться. Но только они, конечно, не сжигались. Их продавали в следующее место, которое отчитывалось ими перед другой комиссией. Оставался вопрос, как выносить краденый хлеб. Это было центральным звеном всей операции. Этим звеном стали мы: моя мама и я.

Ты входил в магазин, с прихлопом клал карточку на стол и говорил: мне за предыдущие четыре дня и за два вперед — столько и столько хлеба. Продавец делал движение, как будто вырезал квадратики с датами. Он возвращал карточки, отдавал нам хлеб, и мы выходили. Каждый из нас отдельно. Я шел прямо в парк, который начинался в двух шагах от хлебного магазина. Там появлялся мужчина, который шагал параллельно со мной, и в какой-то момент я оказывался без хлеба, а он с хлебом.

Для существовавших в городе условий, в которых многие сильно голодали, мы жили сравнительно хорошо. Но были все же полуголодными — в том смысле, что другой еды, кроме хлеба, почти что не было, даже за деньги нельзя было купить много. Но хлеб-то был.

Самарканд в то время был разделен очень четко. В Старом городе жили узбеки, таджики, а из приезжих — поляки, к которым причисляли и нас, поскольку нам выдали польские документы. (Потом опять забрали, кстати.) Для моих глаз Старый город был невероятно экзотичен — ориентальный город с рынком и мечетями, который Тамерлан выбрал как свою столицу. Был также Новый город, этнический состав которого был русско-татарский в главном. И там говорили в основном по-русски. В Старом городе говорили по-таджикски больше, чем по-узбекски (села были узбекскими, а города таджикскими), но вообще там царила смесь языков.

Отцу повезло меньше: приказ об освобождении бывших подданных Польши пришел в его лагерь почти с годовым опозданием. Мы не знали, где он; искали всеми силами, но не могли найти — ни его, ни кого-либо из его эшелона. Это звучало плохо. Было чувство, что, быть может, немцы перехватили эшелон. (Идея, что русские, то есть «наши», перестреляют в Катыни людей, нам, конечно, не приходила в голову.) Мы старались найти «своих», а это вот как делалось. В то время в каждом месте, где было много «поляков» (то есть бывших польских граждан), имелась стена объявлений, на которой вывешивали записки и телеграммы. Как правило, возле Делегатуры. Все они были примерно одного содержания: мы ищем того, того, того, находимся здесь и здесь. Но на наши бесконечные послания не было ни ответа, ни привета. И все активнее просачивались плохие новости с территории, занятой немцами. Было чувство — все, немцы перебили всех.

Тем временем отца отпустили, и он решил делать то же, что мы. То есть поехал на юг. Он добрался до Джалал-Абада в Киргизии, там осел и начал рассылать телеграммы. Но до Самарканда они не доходили. Он голодал все сильнее, у него началась тяжелая цинга; это было смертное дело. И поэтому он решил уехать в далекий колхоз, где будет хлебно и нехватка мужчин. По его рассказу, он напоследок заглянул в Делегатуру — и нашел на стене нашу телеграмму. И с ходу отбыл в Самарканд.

Когда мы его встретили, он был полумертвый. Мы его начали откармливать. Хлеб, фрукты, всякое такое. Он поначалу не имел сил разбираться в том, почему мы — по военным меркам — живем хорошо. Но в конце концов сообразил почему. И смертельно испугался. Вообще говоря, я его помнил по Вильно отважным человеком. Но его сломали лагерь и физическая слабость. Каждый раз, когда я или мама отправлялись на хлебную акцию, он дрожал, полуплакал, черт знает что творилось. В результате мы тоже стали испытывать страх, заразились им. А ведь проходишь меж пальцев милиции только по одной причине. Потому что они видят: ты уверен в себе — и думают, что у тебя с собой нет хлеба. Я носил его в своем ранце для книг и выглядел спокойным. Ну, со школы иду. Мне одиннадцать лет. Кому какое дело.

Но если они увидят испуганные глаза, с ходу схватят тебя за штаны. Мы решили выходить из этой сети; один случай нас в этом решении укрепил. Там был очень приятный парень, с которым мы работали, тоже виленчанин; его роль заключалась в том, чтобы забрать у нас хлеб и передать торговцам на «черном рынке». Однажды он задержался у нас дольше обычного, ждал наступления темноты. И пел песни. Еврейские, польские и русские. Необыкновенно красиво, я до сих пор помню это. Голос у него был — заслушаться. И это были такие счастливые минуты...

Стемнело. Он взвалил на спину мешок хлеба, причем нагрузил как следует, чтобы заработать побольше денег на предстоящую свадьбу. Ушел — и его «взяли». Получил стандартный срок за спекуляцию хлебом: семь лет лагерей. Правда, должен сказать, у этой истории был хеппи-энд, потому что он вышел по амнистии, отыскал свою любимую, а она его ждала. Они поженились и добрались до Польши.

Для нас это значило, что пришло время уходить из «дела». Но теперь я начал умирать с голоду. Отец стал выздоравливать, а я дохнуть: меня пожирала цинга. Возраст у меня был опасный — около двенадцати лет. Я испытывал страшную боль из-за цинги. Но для мальчишки я крепко держался, даже слышал, как родители и соседи разговаривали меж себя: какой необыкновенный, как хорошо держится.

И все же я умирал, и это становилось все яснее. Врачи быстро определили мое положение, но помочь нечем было: лекарств не было.

Тогда родители решились бросить последнюю карту на стол: продать золотой портсигар отца. Тяжелый, огромный такой, купленный ради золота, а не ради папирос. Этот портсигар забрали, когда его арестовали, и, на удивление, вернули, когда освободили. Отец погибал от голода, но портсигар не продал. Среди прочего также потому, что было опасно показать это богатство. Покажешь милиции — арестуют. Спекулянтам — убьют.

Теперь родители продали этот портсигар через своих людей, а полученные деньги употребили на две взятки. Во-первых, чтобы отец занял место директора по снабжению кирпичного завода номер восемь. Это значило стать человеком, который умеет воровать и на себя, и на директора. Вторая взятка пошла на то, чтобы получить для меня место в польском детдоме, где кормили лучше, чем в других детдомах, и считалось, что имеется хорошее медицинское обслуживание. Кстати, мама тоже начала работать. Она встретила латвийскую подругу, и они вместе начали делать резиновые сандалии из старых шин, а когда шины кончились, начали производить папиросы.

Это оказался важный период взросления. В детдоме я открыл в себе способность, о которой даже не подозревал. Оказалось, что я могу рассказывать рассказы и сказки. В детдоме не было библиотеки, а учителя ничего интересного предложить не умели: они не были профессиональными педагогами, их набрали где ни попадя. Девочек в детдоме не было, только мальчишки. В этих условиях человек, который умел по памяти пересказывать книги, обречен был стать героем. А я — умел.

Каждую ночь мы ставили чашку керосина с фитилем и зажигали огонек. Вокруг огня лежали мальчишки разного возраста, а я рассказывал. Это дало мне статус не по возрасту и даже привело к тому, что меня избрали одним из тех, кто резал хлеб. Мы получали хлеб в ужасном состоянии, очень мокрым. Кто-то его нарочно подмачивал, чтобы утяжелить. Вопрос, как разделить этот хлеб по-честному, был очень важен. Когда меня избрали на этот пост, я почувствовал впервые свой «общественный вес».

Но дни все равно оставались скучными. Чтобы перебороть это, мы делились на банды, каждая избирала вожака, и уходили в горы — драться кулачным боем. Это был способ разыгрывать роли из немногих книг, которые нам удавалось раздобыть. Это была больше чем игра, это была форма воспитания характера и воли.

Я был избран вожаком одной из банд и однажды угодил в опасное положение. С одной стороны была скала, а с другой стороны пропасть — и узкая дорожка-стежка вдоль скалы. Я бежал по этой дорожке, когда мои враги закрыли вход и выход, отсекли меня от моих и стали надвигаться на меня. Помню их восторженно-злорадные лица: пленить вожака другой банды было бы великой победой. Наступил момент, когда нужно было решиться на что-то, — и я прыгнул в пропасть. Должен был как минимум переломать ноги, но зацепился за выступ, который снизил скорость падения. Вернувшись к своей команде целым и невредимым, я поднял мой статус в детском доме на небывалую высоту.

Опасности продолжали подстерегать на каждом шагу. Примерно раз в месяц меня отпускали домой на побывку. Как-то я приехал с дикой болью в горле. Детдомовский врач ничего не распознал, но мама встревожилась, забрала меня в поликлинику, где у меня нашли запущенный дифтерит. Я оказался на грани жизни и смерти. К счастью, в больнице были врачи получше детдомовских. Когда меня выписали, родители решили, что пришло время возвращаться мне домой.

В Самарканде открылась польская школа в здании бывшей узбекской — состояние ужасное, крыша снесена, окон нет; в конце лета не страшно, но ясно же было, что зима придет.

И это была необыкновенная школа, которая дала мне очень много. Педагоги — за исключением двух очень хороших учительниц польского и одной учительницы русского языка — не были профессионалами, у них отсутствовали учебники, они учили по памяти, но сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что лучшей группы учителей мы не могли бы найти.

Первые три недели я провел на крыше. Потому что мы ее перекладывали. Меняли окна — стекол хватило не на все. Когда пришла зима, в классах было очень холодно. Нас подымали каждые десять или пятнадцать минут, и мы стучали ногами о пол. После этого: «Садитесь; продолжается лекция».

Нас, конечно, невзлюбило местное узбекско-таджикское население. Их мальчишки атаковали нас раз за разом. И через незастекленные окна вбрасывали камни и кирпичи. Когда становилось невмоготу, учитель давал приказ, и мальчишки выбегали, чтобы отогнать хулиганье от школы. Но они нас также сторожили на пути домой. И мы выработали особую боевую стратегию: большие мальчики становились в каре (я после прочитанной в Вильно книги о Наполеоне помнил, что такое каре), девочки и малыши уходили внутрь него, и так мы пробивались к центру города, где уже была милиция.

Мы учились зверски. Выделили более сильных учеников, каждый из которых подтягивал по своему предмету остальных. Я был специалистом вначале по географии, а после этого — по физике. Мы работали при свете «коптилок», но очень завзято. Как-то раз пани Гликсманова, учительница польского языка (между прочим, блестящая учительница), возмутившись глупыми ответами класса, взорвалась: вы все идиоты! На что я с треском крышки парты встал и заявил: «Госпожа Гликсманова, у нас не принято, чтобы наш класс называли дураками». И она извинилась. У нас была очень сильная самоорганизация, и даже прошли две ученические забастовки. Мощные. Первая — когда я пошел к нашей директрисе (которая, между прочим, была еврейкой, но из тех польских районов, где не было литваков) и сказал, что приближается День искупления, Йом-Киппур, когда евреи целый день постятся, не едят и не пьют ничего. Это особенно трудно для недоедающих. Я сам, конечно, собираюсь прийти учиться, но у нас есть трое детей религиозных в классе, и, я думаю, надо отпустить их на этот день. Они должны быть в синагоге со своими семьями. Она ответила:

— Нет, это нарушит порядок.

Я ей возразил:

— Третьего мая мы, евреи, праздновали с нашими друзьями-поляками День польской конституции. Надо отнестись с таким же уважением к другой группе.

Она мне отказала — все прошло на высоких, вежливых тонах. Я вернулся в класс, и у меня был разговор с вожаком польских мальчишек. Он сказал: «Ты, конечно, прав, Теодор. Это что ж такое, почему вас не уважают». И на следующий день никто из нас не пришел в класс. Кроме одного мальчишки, которого просто испугала сама идея протеста.

Мне влетело, но потом все начало как-то успокаиваться. И вдруг директриса вспомнила тот эпизод, что случился двумя месяцами ранее. Выговаривая мне за забастовку, она язвительно спросила:

— Ну что, вы по-прежнему против того, чтобы вас называли дураками?

На что получила ответ:

— Вы, конечно, можете продолжать нас называть дураками, но только тогда вас возненавидят еще больше.

Это было слишком: она взлетела в потолок от этого заявления, и педсовет начал рассматривать дело о моем исключении. Вмешалось гороно. Месяц до экзаменов, нельзя исключить. И был достигнут странный компромисс: я оставался учеником, но не ходил в школу. Что дало мне время подготовиться к экзаменам как следует.

Так примерно и шло. Школа оставалась для нас домом родным и местом реальной свободы. Мы также влияли очень сильно на город. Слава о школе разошлась далеко за пределами польской и еврейской общин. Когда мы проходили под стук барабанов перед руководством города во время первомайского парада, гордо неся два знамени, красное и красно-белое, в толпе проходил уважительный шепот: поляки идут.

Вопрос, кто мы — поляки, евреи или советские, стал менее важен перед лицом нацизма.

К тому времени так называемый Союз польских патриотов стал создавать элементы будущего советско-польского правительства и начал формирование армии. Осенью 1943 года Первая Варшавская пехотная дивизия, которой командовал полковник Берлинг, вступила в боевые действия под Могилевом; двое наших учителей ушли в эту армию добровольцами.

В то время наши мысли и чувства были связаны либо с войной, либо со школой. С точки зрения войны, я ежедневно выходил в город, чтобы прочитать все газеты, которые можно было найти. И, возвратившись, рассказать об этом. Мы читали о победах, но становилось все труднее. Люди жили от похоронки до похоронки. Кто-то надеялся на случай, кто-то на чудо, кто-то на Бога. А я к этому времени уже стал атеистом — тоже благодаря книгам.

Я очень много читал. Мне было двенадцать, когда я стал собирать библиотеку. Мама давала мне некоторую сумму денег, чтобы купить лепешек. Но я никогда этих лепешек не ел, вкуса их не знаю. Я покупал книги — с рук. И в основном те, которые никто не хотел покупать, потому что они слишком умные. Одна из этих книг, академика Опарина, рассказывала о происхождении жизни на Земле. Я ее прочел три раза досконально, перескакивая через химические формулы, потому что не знал, как с ними разобраться. Но и без этого я вполне освоил, что там со Вселенной произошло. И тогда же я сказал маме (помню, что я задирал еще голову, поскольку был мал ростом): «Знаешь, мама, я принял решение, что придется выбирать между наукой и религией». (Хотя я еще молился тогда, как дед научил.) Ея это рассмешило. Отсмеявшись, она спросила: ну что, каково твое окончательное заключение? Я ответил: «По-видимому, приходится выбирать науку».

Казалось, что жизнь делается спокойнее. И вдруг отец вернулся с работы, и лицо у него было такое же, как после возвращения из лагеря. Он отмалчивался полчаса, после чего сказал мне, что ему на работу позвонили из НКВД и вызвали его. Он боялся; он нес в себе этот страх перед всесильными чекистами до конца жизни. Но назавтра он явился в НКВД, конечно. Оказалось, что его ходят допросить как свидетеля по делу Гроссмана, польского журналиста из Варшавы, который после спецпереселения в Коми осел в Самарканде, где работал ночным сторожем на каком-то заводе. Я довольно часто ходил вместе с отцом к нему на этот завод. Взрослые играли в шахматы и говорили на всякие темы, я с интересом слушал.

Выяснилось, что Гроссман арестован за контрреволюционную пропаганду, статья пятьдесят восемь. Отца спрашивают: что он вам говорил контрреволюционного? Для начала отец ответил, что ничего такого не помнит. Его жали-жали, не выжав ответа, сказали: хорошо, идите домой, возвращайтесь через неделю, поговорим опять, надеемся, что вы припомните. Но принесите с собой белье.

Через неделю он пришел с бельем. Его отпустили снова. И опять на неделю. После чего следователь вдруг сказал отцу: «Так ничего и не помните? Хорошо же; вызвать заключенного Гроссмана». Ввели Гроссмана. Глаза бегают. Голод написан на лице, ясно, что есть не дают. «Гроссман, вы говорили этому человеку то-то, то-то, то-то?» — спрашивает следователь. Гроссман подтверждает: «Да». Следователь приказывает: «Вывести заключенного». И обращается к отцу: «Теперь помните?» — «Теперь помню».

После чего был суд, закрытый. Я сидел на лестнице и ждал, что произойдет. В конце отец вышел из зала суда без охраны, свободный. И рассказал, что произошло.

Гроссману дали защитницу, которую отец называл «комсомолкой». Потому что она была очень молодой, а также абсолютно преданной режиму. Эта адвокат-комсомолка встала, повернулась к Гроссману, сказала: «Говорите, как все было!» Гроссман молчал. Она кулаком в стол: «Я вам сказала — говорите! Вы обязаны говорить». И Гроссман сказал: «Все неправда, меня били».

Скандал получился зверский. Прокурор вскочил: «Требую не вписывать это в протокол». Адвокатша к нему: «Вы что, законов не знаете? Обязаны вписать это в протокол».

И крик, шум. Судьи чуть не спрятались под стол, потому что было ясно: им попадет. В конце концов председатель суда промямлил: «Откладывается заседание».

Отца отпустили. Гроссмана, конечно, нет. Его осудили позже, через месяц примерно, тройкой — и не за контрреволюционную пропаганду, а за то, что он годами раньше бежал из спецпереселения. Мы решили на семейном совете (мне уже разрешали быть его частью), что отца надо немедленно убрать из Самарканда.

Но, чтобы выехать из Самарканда в Вильно, нужно было особое разрешение. И тут снова помогли курсы кройки и шитья. Клиентками моей матери, которым она шила платья, были в основном жены эвакуированных ленинградских профессоров. Это были какие-то совершенно другие женщины. Необыкновенно элегантные — посередине всеобщей беды. Говорящие красивым русским языком. Интеллигенция ленинградская высокого пошиба. Среди них была одна женщина, которая не принадлежала вполне к этой группе, ея звали Хрущева. Она говорила, что ея брат — высокий чиновник. Я до сих пор не знаю, была ли это сестра Никиты Сергеевича. Во всяком случае, она была хорошей клиенткой и влиятельной женщиной; мама к ней обратилась за помощью и через два дня получила бумагу.

Отец сел на ближайший поезд, куда сумел достать билет, — и исчез. Ни письма, ничего. Мы даже думали, что его снова взяли. А новости, которые поступили из Вильно, были ужасными. Мы знали, что в Вильно не осталось евреев.

Через полгода (быть может, немногим меньше) я был дома, делал уроки, когда в комнату вошел советский солдат. Классический. Ушанка с красной звездой. Шинель. Деревянный чемодан: их тогда очень часто носили с собой солдаты. Все как надо. И говорит мне по-русски: «Я ищу мадам Зайдшнур». Я вздрогнул от слова «мадам» и сказал: «Мамы нет дома, но она будет через два часа. Хотите подождать?» — «Да, хочу». (Он вообще был немногословен.)

Сел. Вытащил газету и стал читать.

— Хотите чаю?

— Да.

Я налил чай. Этим наше общение ограничилось. Когда вернулась мама, она его спросила: «А кто вы?» Он говорит: «Меня зовут Иегуда. Вы знаете почерк вашего мужа?» И он вытащил из сапога письмо отца. Подал ей. Она прочитала. Отец сообщал, что он находится в Лодзи, в Польше, и с ним все в порядке. И предлагал ехать к нему. А человек, который привезет это письмо, даст нам денег на поездку.

Мама повела себя осторожно, ничего не ответила; кто мог поручиться, что это не провокация, что отца не вынудили написать такое письмо. Иегуда тоже ничего не стал доказывать, просто попросил разрешения переночевать. Мама постелила ему на полу. Назавтра утром он сказал:

— Вы относитесь ко мне с недоверием, что нормально. Но я вам нечто покажу. Быть может, это снимет частично ваше недоверие. У вас найдется топорик?

Я принес ему топорик. Иегуда подцепил им дно своего чемодана, и оттуда посыпались золотые монеты. Он сложил их в кучу и сказал:

— Я приехал, чтобы выкупить из тюрьмы нескольких наших товарищей.

Иегуда оставался с нами еще четыре дня. Уезжал, возвращался. Я выполнял его мелкие поручения, как то: пойти к тому и к такому и спросить, здоровы ли дети. То есть передать месседж. Он произвел на меня сильное впечатление. Абсолютного, неправдоподобного спокойствия. Лицо как стена. И при этом какая-то особая улыбка, которую я не забуду. Он улыбался, когда отказывался отвечать. О себе он ничего не рассказывал, и лишь позже, когда мы встретились уже в Польше, я узнал, что он был членом сионистической организации ревизионистов. То есть крайне правых, с которыми позже я политически воевал. Они были очень твердыми, верными своим принципам, и среди них было немало настоящих патриотов.

Прощаясь, он выдал маме деньги в рублях — достаточные, чтобы доехать до Вильно и еще некоторое время остаться там. Мы сказали «спасибо» — и с ходу уехали.



# Глава 3. В Боливию через Палестину

Убедившись, что дед и сестра погибли (мама поговорила со свидетелями, которые видели деда в расстрельной толпе), мы решили, что пора нам выбираться в Лодзь, к отцу. Оставалось доказать, что мы — польские граждане: ведь к этому времени у нас снова отобрали польское гражданство и выдали советские паспорта. Моя мама нашла в архивах Виленского университета свои студенческие документы, в которых было написано: гражданка Речи Посполитой. Все. Проблема выезда была решена.

В Лодзи мы сошли с поезда. На перроне нас ждал мой отец. И забрал нас прямо в ресторан. Это было что-то потрясающее. Потому что я только тогда осознал, что был голодным пять лет. То есть ел достаточно, но некачественную пищу, которая мне не давала ничего, кроме того, что картошка вареная дает человеку. А Польша была как перед войной. Точнее (видимо), как под немцами. А Лодзь была специально отобранным городом, немецким. Потому что хозяевами индустрии были немцы — со времен оных. Город никогда не бомбился. И ресторан ничем не отличался от того, что я помнил по Вильно. За каждым стулом стоял отдельный кельнер и мгновенно менял тарелки. Я положил на минутку нож и вилку на стол, чтобы передохнуть, и вдруг такая лапа опустилась из-за моего плеча и забрала у меня тарелку. Мне смертельно хотелось ударить кельнера — я чувствовал себя как собака, у которой отнимают кость. Но официант тут же поставил передо мной другую тарелку, еще более глубокую, наполненную пищей.

И так шло. И пока я ел, я осматривался. Люди были хорошо одетые — новая буржуазия и новое чиновничество. И ели. Ели. Потому что в войну и после нее едят больше, чем в мирное время: ты как бы боишься голода. А родители мои меж собой говорили, говорили, говорили — без умолку, как пулеметы, рассказывая друг другу обо всем, что происходило во время разлуки. Про меня забыли. В конечном итоге вдруг отец сообразил, что я сижу и молчу, повернулся ко мне и сказал:

— Тодик! — Тодик — это мое семейное имя. — Мы теперь опять как в Вильно. Есть все, что ты захочешь. Чего бы ты хотел?

Было ясно, что он ожидал от меня, что я захочу мотоцикл или машину. А я сказал ему на это: «Сионистическое движение легально?» Он с удивлением ответил: «Да». Я сказал: «Хорошо. Возьми меня туда». Отец возразил: «Отдохни немного. Через несколько дней я тебя представлю Движению». — «Нет. Завтра».

Я не мог ждать. Я только что провел несколько месяцев в любимом Вильно, который превратился в огромное кладбище. У меня убили любимых родных — за то, что они евреи. И вот я сижу в странной Польше, которая выглядит как Вильно до войны… Во мне было нескончаемое море боли, гнева, злости, готовности драться с каждым, кто станет на пути. Я вообще был в молодости драчлив, а тут хотел просто схватить кого-нибудь за глотку. Еще не знал, кого именно, но боль требовала выхода.

И вечером следующего дня я был в большой подвальной пивнице, где пили пиво, пели песни на иврите, танцевали и беззаботно веселились — в моем тогдашнем восприятии, как малые дети. Человек восемьдесят моего возраста. Позже мне описали, как я выглядел в тот вечер. Я стоял в углу, спиной к стене, в тяжелой женской шубе моей мамы, с ушанкой, надвинутой на один глаз. Потом стал ходить по залам и угрюмо смотрел на всех, кто танцевал, играл, изучал картинки Палестины, которые висели на стенах. Никто ко мне не подходил; они мне сказали после: «Мы понимали, что к тебе не надо было подходить. Мы видели, какими глазами ты смотришь на нас».

И в конце этого молчаливого для меня вечера я спросил одного из ребят: «Когда вы встречаетесь опять?» Он мне ответил: «Знаешь, так удачно вышло. Завтра пятница, мы вместе встречаем субботу. Вот адрес. Если хочешь, приходи, мы будем тебе рады».

Назавтра вечером пришел по указанному адресу. Узкий проход, очень высокие дома. Такая типичная Лодзь, индустриальный город девятнадцатого века. Я двинулся меж этих домов, когда мне уткнулись две винтовки прям в лицо: «Руки вверх!»

Я руки поднял. Зло поднял. Дальше нашелся парень, который меня туда пригласил. Я спросил: «Почему вы так на взводе?» И он сказал: «А ты подымайся на второй этаж, тогда поймешь». Там на полу стояли четыре гроба. Три парня моего возраста и одна девушка немногим моложе. Мне объяснили, что они ехали к чешской границе на пути в Германию и далее. Их задержали бойцы NSZ — национальных вооруженных сил, то есть польских крайне правых, которые не подчинялись и Лондонскому польскому правительству. Они скомандовали: «Евреи и коммунисты — шаг вперед». И наших ребят расстреляли.

Мы хоронили их на заново созданном еврейском кладбище. Собралась пара тысяч человек — по тем временам много. Говорил полковник UB — политической полиции. Он сказал: «Это война, и в ней гибнут люди. Но мы победим». Далее говорил представитель еврейской общины. Его голос выводил меня из себя, хотелось ударить его по лицу — просто для того, чтобы замолчал. Он плаксиво объяснял, как это все несправедливо, что после гибели столь многих евреев их все еще убивают, — и что мы просим защиты польского правительства. После него говорил один из товарищей погибших. Он сказал: «От нас сказали, что мы просим защиты у польского правительства. Это ложь. Мы не просим ничего у польского правительства. Мы не хотим иметь ничего общего с польским правительством или с кем-либо из поляков. Все, что мы хотим, — это уйти поскорей из этой проклятой страны, и мы желаем ее народу, чтобы они горели и гибли, как горели и гибли наши семьи. Это все, что у нас есть сказать этой стране и этому народу». Его быстро спрятали за спины товарищей и днем позже перебросили через чешскую границу. Ведь по закону он был ответственен за обиду, нанесенную Народной Речи Посполитой.

Так я начал работать с Движением, и меня через две недели избрали заместителем руководителя лодзинского отделения. Как-то потом спросили: «Ты же был самым молодым, почему тебя избрали?» И я ответил: «Злости было больше». Я ненавидел все, что в моем сознании связывалось со страданиями еврейства; мои друзья называли меня «неулыбающийся Теодор».

Кстати, об улыбающихся людях. Нас мучил вопрос, что с Иегудой: еще в Вильно нам стало известно, что группу нелегальных переселенцев поймали на границе с Польшей. В Лодзи через отца мы первым делом вышли на организацию Иегуды; там сказали, что ничего о нем не знают, он уехал и пропал с радаров. Но через два дня — стук в дверь, вошел Иегуда. Оказалось, что он узнал об арестах на границе, купил фальшивые документы и под видом цыгана, который догоняет свой табор, приехал в Вильно, а через Вильно в Лодзь. Рассказал, что занимается переброской людей через границу.

Я спросил:

— Но ведь граница закрылась, не так ли?

Улыбка, которую я знал хорошо, — все, что я получил в ответ. Такой человек…

Через два дня после похорон наших ребят я пошел в школу. Была уже середина учебного года, мест в городских классах не нашлось, поэтому меня послали в предместье. Я вошел в свой класс, учитель спросил: «Фамилия?» Я назвал фамилию, которую употреблял с детства: «Зайдшнур!» — и весь класс повернулся ко мне. Было понятно, кто я по национальности.

— Имя?

— Теодор.

— Где учились?

— Во Второй государственной, Самарканд.

— Религия?

— Атеист.

Весь класс вздрогнул и опять повернулся в мою сторону. Поляки, вообще говоря, религиозны, но тут было и другое, что я понял позже. Все решили, что я прячу свое еврейство и вместо того, чтобы сказать «еврей» на вопрос о религии, отвечаю «нерелигиозен». Но дальше шел последний вопрос:

— Национальность?

— Еврей.

В классе словно бомба взорвалась. В классе не было ни одного еврея. Точнее, как выяснилось позже, немногие были, но скрывали свое происхождение.

Вскоре я разговорился с моим соседом по парте. Все шло хорошо, пока он не сказал о мальчике из другого класса: «Этот маленький жидок сделал то-то и то-то». (По-польски «еврей» — «жид».) Я в ответ сбил его кулаком на пол. Он испуганно закричал: «Чего ты от меня хочешь? Я же ничего такого не сказал!» Я ему ответил: «Теперь ты будешь говорить “еврей”, по-братски. Ведь тебя полячком никто не зовет!»

Этим я заработал очки, чего не понимал тогда. Поляки любят отвагу, это часть их национальной культуры. Их не корми хлебом, дай им отвагу. После этого я еще дрался несколько раз, и все антисемитские штучки закончились. Класс меня принял. Я был их особенным евреем, которым они гордились. Как сейчас слышу шепоток за спиной: «А знаете, какой у нас еврей? Дерется! И не только дерется, но и по польской литературе пятерки получает».

Постепенно я начал успокаиваться, бешеная злость против всего нееврейского стала гаснуть. Хотя только в Израиле это гневное чувство исчезло: «как вы смеете жить, когда мы все вымерли!» А для моих одноклассников я стал странным зверем, потому что они, вообще-то говоря, евреев никогда не видели. Они знали, что их надо ненавидеть, или считать недоделками, или считать предателями, прислужниками советской власти. Но живого еврея практически не встречали. И через отношение ко мне меняли свое отношение к еврейской проблеме как таковой. Что четко выразилось во время моей матуры, то есть итогового экзамена за среднюю школу. Вполне в духе польской культуры он очень торжественно обставлен. Там и указ президента, и всякие прочие вещи.

Месяца за полтора до начала матуры я сказал матери, что у меня дела обстоят плохо: я на физматотделении, а при этом у меня двойки и по математике, и по физике, потому что я не учился, к сожалению, а все свободное время посвящал Движению. И несвободное время тоже. «Понимаешь, мама, — начал я объяснять, — у евреев перепроизводство интеллигенции, и даже хорошо, что одним интеллигентом будет меньше». На что мама ответила, что она сама не выедет из Польши и мне не даст выехать, если я не сдам матуру. Более того, она (о чем я узнал позже) пошла в руководство Движения, нашла генерального секретаря, товарища Кунду. Ее приняли с полным уважением, так как папаша у меня был важным сионистом. И Кунда меня вызвал лично. И заявил от имени руководства Движения, что принято решение о том, что я обязан сдать матуру.

— Ты — руководитель самой молодой группы в Движении. Если ты не сдашь, это станет известно всем, и родители перестанут разрешать своим детям участвовать в Движении. Так что вот тебе приказ руководства Движения: сдай матуру.

Я для виду заспорил, но понимал, что он прав. Мама наняла репетитора из политехникума — хорошего, умного парня. И за оставшиеся шесть недель мы догнали мои отметки до троек. И продолжали работать. Так что физмат в самой матуре я уже сдал на четверку.

Но в тот год польское правительство, формально коалиционное, практически контролируемое коммунистической Объединенной рабочей партией, столкнулось с сопротивлением большинства поляков. Поэтому был введен добавочный экзамен, который никогда не существовал перед этим, — «Польша и современный мир». И экзамен принимал не только учитель, но и представитель общества. Представителем общества был, конечно, назначенец доминирующей партии, и у него имелось право снять с матуры человека, которого он сочтет недостаточно подготовленным. Что давало возможность отсеять политических врагов существующего режима, не дать им поступить в университеты и тем самым менять состав будущей польской интеллигенции.

Система была построена на том, что мы сначала сдавали два письменных экзамена и только те, кто сдал их, допускались до устных. Два письменных, которые я должен был сдать, — математика и польская культура. Ну, с математикой я справился, а на культуре нам дали на выбор две темы: «Вечная дружба славянских народов» и «Красинский как крупный поэт периода романтизма в Польше». За великую дружбу славянских народов я отвечать был не готов — не потому, что имел что-то против славян, но потому, что ответ предполагал льстивое и ложное описание того, как поляки и русские любят друг друга. Так что оставался только Красинский, который, несомненно, был одним из трех главных поэтов польского Возрождения наряду с Мицкевичем и Словацким, но при этом зверский антисемит, в отличие от моего любимого Мицкевича.

И я решил для себя вопрос, как с этим справиться, поскольку хорошо знал биографию Красинского и помнил, что во время польского восстания Мицкевич был на стороне восставших и из-за этого вынужден был эмигрировать, а Красинский, будучи сыном поляка, ставшего русским генералом, ровным счетом ничего не сделал для восстания. Я построил сочинение на том, что, будучи сыном предателя польского народа, он, компенсируя это, стал неизбежно врагом национального меньшинства. Мой польский язык был тогда очень хорош, и, конечно, я люблю польскую литературу, так что работа получилась достойная.

Я заканчивал ее переписывать набело, когда в зале появился руководитель областного отдела образования, который в этот серьезный день объезжал все школы с инспекцией. Он прошел по рядам учеников, увидел, что я уже фактически завершил свою работу, сел около меня и начал читать мой текст. Я вполглаза смотрел на него. И увидел, как у него задрожали губы от сдерживаемого смеха, потому что я не только изругал Красинского, но и сделал это юмористично. Он посмотрел на меня. Посмотрел на мою фамилию. Ясно понял, что тут происходит, как я расправляюсь с антисемитом по мере своих возможностей. И сказал:

— Неплохо написано. Но я бы все же добавил что-то о позитивных характеристиках Красинского.

Я поблагодарил за совет. Он ушел. И я, не изменив ни слова, сдал сочинение. Получил четверку вместо пятерки. И отправился сдавать устные экзамены. Мы переходили от стола к столу. Математика, физика, химия. Последним был экзамен «Польша и современный мир». Рядом с моим учителем обществоведения, который молчал как рыба, сидел представитель общества. Я сел напротив. Лицо интеллигентское, руки как будто бы рабочего. Седина. Но что самое важное — красный треугольник на рубашке. Это значило, что человек был политическим заключенным до прихода советской власти. То есть коммунист, но настоящий, из тех, кто платил за свой коммунизм.

Ну, он начал. «Фамилия?» — «Зайдшнур».— «Где вы были во время войны?» — «В Советском Союзе». — «Служили в армии?»

Мне пришлось признать, что не служил; это не сходилось с моими документами, которые я купил, чтобы попасть в эту школу ускоренного обучения, и согласно которым я был на три года старше, чем в реальности.

— Почему?

Я только пожал плечами. Он не задерживался, пошел дальше в том же темпе. Вопрос, вопрос, вопрос. «Сколько республик в Советском Союзе?» — «Пятнадцать». — «Что такое шестнадцатая республика?» — «Нет шестнадцатой республики». — «Я не это спросил. Я спросил: что такое шестнадцатая республика?» Пришлось ответить, что это выражение, принятое польским подпольем и означающее, что Польша теряет независимость и в реальности становится частью СССР. Он кивнул.

— Что такое колхоз?

Я процитировал определение из советского законодательства, которое изучал в Самарканде.

— А что такое кибуц?

Я чуть не слетел со своего стула от удивления. Вот образованный, черт! И ответил шуткой:

— Это палестинское издание колхоза.

Мы оба улыбнулись.

— Ну что ж. Какую отметку вы бы сами себе поставили? Или по-другому спрошу: чем вы собираетесь заниматься после матуры?

Ждал, конечно, ответа: пойду на такой-то факультет. А я ответил по-другому:

— Я уезжаю из Польши через две недели.

— Куда собираетесь?

— В конечном итоге в Палестину.

— Так что, вы — еврейский националист?

— Да, я — еврейский националист.

И вдруг улыбка с него слетела.

— А как это соотносится с лояльностью по отношению к народной республике?

— Еврейский националист может быть лояльным гражданином народной республики.

Я вышел, меня окружили мои товарищи по классу: «Что происходит? Тебя он держал куда дольше, чем любого из нас». — «Я, кажется, срезался, я сказал им, что я — еврейский националист». — «Ты что, с ума сошел? Ты с кем играешь? Ты знаешь, что это значит? Понимаешь, что он с тобой сделает?» — «Что сделает, то сделает».

После мы выстроились в ряд перед экзаменационным комитетом, и нам начали зачитывать результаты. Я был последним: в польской транскрипции Зайдшнур начинается с Z.Результаты: сдал. Отлично. Времена, конечно, были еще диетические, эпоха Гомулки.

Несколько человек срезалось, но успешно сдавшие экзамен отправились выпить вместе в ближайший ресторанчик. Собирали все деньги, которые у нас нашлись в карманах, купили себе бутылку водки и бутылку вина. Потому что по законам польского скаутского движения запрещалось пить водку. А я и еще трое одноклассников были скаутами. Вдруг появился хозяин заведения (у заведений были еще хозяева, а не правительство) с огромным подносом сэндвичей. Мы закричали на него: нет-нет, мы не заказывали. Потому что денег уже совсем не осталось. На что он улыбнулся широкой улыбкой: «Это от заведения. Панове после матуры?»

И мы начали пировать. Первый тост произнесли за счастливую жизнь всем нам и за лучшее будущее. Выпили. И тогда я встал и сказал:

— Я уезжаю из Польши через две недели. Вы знаете, куда я еду, вы знаете, зачем я еду. Об этом мы не раз говорили на переменах. Вы все будете обмениваться адресами, чтобы навсегда осталась связь. Я не смогу дать вам мой адрес, потому что не знаю, где буду жить. Могу только пожелать вам всего наилучшего.

В ответ поднялся один из моих одноклассников, теперь уже бывших. Его звали Збышек, лицо до сих пор помню. И сказал:

— Я — антисемит. Вы все знаете. И ты, Теодор, конечно, знаешь. Но я хочу сказать, что я перестану быть антисемитом, если встречу еще таких евреев, как Теодор. За вашу и нашу вольность.

Я помню, что тогда расчувствовался. Я рос в мире, в котором плохие отношения между евреями и поляками были частью жизни. Считалось нормальным, что евреи не жалуют поляков, а любой поляк не любит евреев, хотя на самом деле это было не так: мама часто вспоминала, что один из виленских профессоров, поляк, дворянин, протестовал против системы, согласно которой еврейские студенты должны были стоять в то время, как поляки садились. Профессор тоже перестал садиться и изо дня в день читал свои лекции стоя. Позже он спрятал у себя в имении несколько семейств еврейских и спас их этим. Так что было и это, и это. Но большинство, по-видимому, действительно не любили евреев, не зная их. И напряжение было взаимным.

Я же во время пребывания в Польше научился уважать поляков очень. Да, когда два народа живут в одном и том же месте, нет нужды во взаимной любви. Но уважение нужно, и уважения — хватит. Я уважал поляков за укорененную демократию, за то, что их шляхта избирала своего короля во времена, когда в Европе ничего подобного не было. И я научился их любви к свободе, готовности подставить глотку под нож, если надо защитить патриотические принципы.

Но мне предстояло с Польшей расстаться. Тем более что польское правительство старалось не препятствовать выезду евреев за границу: чем меньше евреев останется, тем лучше. Со своей стороны мы создали сильную подпольную организацию, которая занималась нелегальной переброской людей за рубеж; мы имели даже вооруженную самооборону, членом которой я, конечно, стал. К моменту завершения моей учебы отец уже выехал во Францию; мы отправились вслед за ним.

Идея была, разумеется, в том, чтобы через Францию попасть в Палестину. Но на подступах к Палестине стоял тогда английский флот и не пускал никого. Еще шла эта отчаянная борьба, в которую я в конечном итоге ввязался сам. Рассуждал я примерно так: английский флот сидит где не надо и не дает нам прорваться на родину. Значит, надо выбить этот английский флот оттуда и убрать всех этих сволочей, которые нам мешают. Правда, позже выяснилось, что среди горячих, завзятых членов молодежного сионистического движения, в том числе его руководителей, было немало таких, кто ушел в Америку. Я до сих пор не понимаю, как они могли.

Да, мне было ясно, что миром дело не кончится. Но я не боялся неизбежно предстоявшей войны и не видел другого пути, кроме спешного выезда в Палестину для участия в боях. И вот пришел день, точнее, ночь, когда в Париже все евреи слушали радио и следили на голосованием в Организации Объединенных Наций — создавать или нет государство Израиль. Страна за страной голосовали. Америка за, Куба против, Колумбия воздержалась. Это было мучительно долго; чаша весов колебалась — есть у нас большинство в две трети, нет у нас большинства в две трети; мы сидели и ждали. И вдруг — итог! Резолюция принята, за — более двух третей голосов! Взрыв чувств.

Мы отпраздновали это событие с большим треском: сняли огромное здание, мой отец говорил — и очень хорошо говорил — от имени исполкома сионистического движения. Он нарисовал образ будущего совершенно невероятной красоты. Израиль будет необыкновенной страной, царством мира и справедливости, потому что нас так мучили, потому что мы столько людей потеряли и теперь проявим миролюбие ко всем. И к меньшинствам тоже, подчеркнул мой отец. Председательствующий произнес: «А теперь послушаем, что молодежь думает. Я вижу, что сын Меира стоит в группе вожаков молодежного движения. Теодор, ты говори». Я сказал:

— Война начинается сегодня.

И как холодным ветром повеяло по толпе; я продолжил:

— Все, кто может носить оружие, немедленно должны выступать в сторону Палестины. Будет не хватать людей. Будет нехватка оружия. Это главная проблема на сегодня.

Толпа это восприняла очень холодно. Но мне было ясно, что я прав.

И в тот же вечер у меня произошел скандал с отцом — самый страшный в моей жизни. Мы возвращались домой вместе: отец, мама, я. И я предупредил их, что уже начал принимать меры, чтобы меня перебросили нелегально в Палестину, причем немедленно. На что отец заорал на высоких тонах, что я еще ребенок и не имею права принимать такое решение. Я ответил: «Я больше не ребенок. Я ребенком был раньше».

Он начал орать, а я говорил все тише и тише, злее и злее. И это было страшно — что он мне наговорил и что я ему наговорил. Он пригрозил, что с помощью полиции снимет меня с поезда на Марсель. (Потому что морской путь лежал через Марсель.) В ответ я бросил, что если так, то я откажусь от его фамилии, Что было для него страшным ударом: ведь он гордился своей фамилией. Я уйду и никогда не вернусь. И больше не захочу его видеть.

И еще я напомнил ему присказку о сионистах, которые всегда готовы послать другого еврея в Палестину — за деньги третьего. И повернулся к маме с вопросом: «Мама, ты молчишь, что скажешь?» И она мне ответила: «Я очень боюсь за тебя. Ты — единственный мой ребенок, кто остался. Но, если ты не сможешь по-иному жить, ты должен ехать. А я могу только одно сделать — поддержать тебя в твоем решении».

Назавтра я ушел из дома. Исчез. Сначала отправился в тайное место, где наша организация, которая готовила людей к пересылке в Палестину, выдавала нужные бумаги. У меня была «Алия D». Это значило, что два прекрасных профессионала выспросили все мои данные и подготовили бумаги, согласно которым я отправлялся в Боливию к моему дяде учиться у него международной торговле. Приложили документы, которые подтверждали это. И объяснили, что если меня попробуют остановить на границе, то я должен заявить, что по пути в Боливию заехал в Тель-Авив к матери, потому что она умирает от рака.

Добирался я до Палестины кораблем, который назывался греческим именем «Марафон». Передо мной стоял вопрос: что будет дальше? До сих пор я жил в ожидании того, что попаду в Палестину. И вот я еду в Палестину. А дальше? В чем теперь моя жизненная цель? И решил, что еду для того, чтобы воевать. Но без языка (а иврит свой я забыл почти полностью) я буду обузой. На подходе к Хайфе я определился. Сразу же, до всякой войны, отправлюсь в один из кибуцев обучиться ивриту и понять для себя, хочу ли я потом в кибуц вернуться. И после этого — на фронт.

В порту Хайфы на борт поднялся британский чиновник, который посмотрел в мои бумаги, скорчил удивленную гримасу и спросил: в Боливию? Через Палестину? На что я ответил, как меня учили: «Да, у меня мама умирает, я должен с ней попрощаться». Он поставил печать.

Я сошел по трапу и двинулся к выходу из порта. Жаркое солнце слепит... Тут из тени вышел молодой человек и спросил: «Вы Зайдшнур?» Я ничего не ответил, молча продолжал шагать, поскольку нас тренировали, как действовать. Когда же он назвал меня вымышленным именем из паспорта, я подтвердил: да. И на всякий случай уточнил: «А вам чего надо?» Тот жестко приказал: «Именем “Хаганы”, — так называлась боевая организация, возникшая в Палестине еще в начале 1920-х годов, — ваши документы».

Я ему отдал свои фальшивые документы, он мне выдал другие, уже израильские. Я забрался в бронированный автобус. И поехал навстречу будущей жизни.

#

# Глава 4. Война и мир

Мечта моих первых семнадцати лет исполнилась. Сначала меня привезли в лагерь эмигрантов, и там я оставался примерно месяц; затем нас распределили по кибуцам. Я оказался в «левом» кибуце, под покровительством МАПАМ, то есть левее, чем то движение, к которому я принадлежал в Польше. Но мои взгляды к тому времени начали меняться, так что я воспринял это спокойно.

Около двух месяцев я занимался ирригацией огорода. Это считалось физически самой трудной работой, потому что в шортах и без ботинок мы перетаскивали тяжелые трубы к нужным посадкам. Сцепляли их, пускали воду и возвращались, чтобы немедленно начать переносить следующую линию труб. Тяжело чертовски, но я был молод. Вечером бегом направлялся в душ, смывал с себя всю грязь, оттуда мчался в библиотеку. Где читал все поступавшие газеты и журналы, чтобы подтянуть иврит. Плюс мы работали пять дней в неделю, один отдыхали, а один учились — как раз ивриту.

Когда я попал в кибуц, уже шли бои за независимость, которые начались для израильской стороны очень плохо. Арабский легион взял еврейскую часть Старого города, захватил пять сел, где погибли многие, остальные попали в плен. Далее Объединенные Нации приказали прекратить бои на месяц, чтобы провести мирные переговоры. И это дало мне возможность доучиться — с чистой совестью. Зато в тот период произошла единственная (за что Богу благодарен) гражданская война в Израиле. Она продолжалась несколько дней, и нам пришлось в нее ввязаться.

Если кратко, то дело заключалось в том, что со времен английских были три вооруженные нелегальные организации в стране. Во время перемирия одна из них, «правая» «Эцель», отправила корабль «Альталена» с оружием для своих сторонников; оружие было куплено у французов еще до объявления независимости, так что нарушения тут не было. Временное правительство запретило его разгружать, велев передать формирующейся Армии обороны Израиля. «Эцель» уперлась, заявив, что часть оружия перенаправит армии, но часть — отдаст своим членам в Иерусалиме. И начала разгрузку в Кфар-Виткине, недалеко от моего кибуца. «Хагана» объявила в нашем районе мобилизацию, мы окружили Кфар-Виткин, началась перестрелка, погибло несколько человек с обеих сторон.

Корабль встал на рейд у Тель-Авива, где отряды «Пальмах» (которые были тогда автономной частью самой массовой организации, «Хаганы») приказали «Эцель» сдаться. Они отказались. Корабль, на котором была взрывчатка, загорелся; люди кинулись в воду и поплыли к берегу, где их просто выловили лоялисты. Идет спор, сколько человек погибло в этой гражданской войне. Хотя «бунтовщики» сначала заявили, что за такое правительство никогда не будут воевать, но потом они всё же все вернулись в состав единой Армии обороны Израиля.

Тогда я в первый раз увидел, как люди ведут себя в условиях гражданской войны. Около главного здания кибуца Маабарот собралась толпа вооруженных людей, и все бешено ругали друг друга. «Сволочи, убийцы евреев!» — это по отношению к «Хагане». «Сукины дети, бунтовщики!» — это по отношению к «Эцель». Тут мы хотя бы друг в друга не стреляли. Но потом — стреляли.

После этого я пошел к командиру района, он сказал, что я могу идти на фронт. Я получил бумажку — направление в тель-авивский офис «Пальмаха». Это была обычная квартира. Сидевший там парень посмотрел мою бумажку, кивнул: хорошо — и хлопнул меня по плечу: здоров! Так я прошел свою первую медицинскую проверку. «Пошлем тебя в шестой батальон. Там Цвика, он хороший парень. Под ним тебе будет приятно служить».

Он позвал девушку из соседней комнаты: «Ты едешь через несколько часов в шестой? Забери его с собой, он новенький». Автобусом мы добрались туда, меня направили к палаткам. Первое, что я услышал: «Новенький! Длинный какой! Первый пулю получит». На что я ответил: «Еще спляшу на твоем гробу». — «Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Стало ясно, что я принят в группу.

Тренировали нас от минуты, когда мы открывали глаза, до минуты, когда мы падали на нос от усталости. За два дня до начала боев нас погрузили на автобусы (не было еще военных машин) и доставили в Иерусалим. Город был практически отрезан. С трех сторон был Арабский легион, а с четвертой имелся проход, но через шоссе, заблокированное у Латруна Арабским легионом. Считалось, что Латрун надо обязательно взять, чтобы открыть путь из Тель-Авива в Иерусалим. Наши атаковали несколько раз, потери были огромные, и ничего не получалось. Во время последней атаки командование бросило в бой бригаду, которая практически вся состояла из свежих эмигрантов, не привыкших к жаре. А был хамсин — самые горячие дни, когда сухой воздух наступает из пустыни. После двух часов у бригады кончилась вода, и бойцы начали падать в обморок, потому что хамсин — не шутка. Тогда Арабский легион нанес свой удар. До сих пор, я думаю, никто не знает, сколько там человек погибло, но в живых осталось немного. Это было одно из самых ужасных поражений израильской армии.

Разведчики «Пальмаха» открыли новый путь в Иерусалим, через горы. Послали трактор, чтобы немножко выровнять эту дорогу, но она осталась довольно-таки зверской, дикой дорогой, которую называли «Дерех Бурма» — «бирманской дорогой», потому что были среди нас люди, которые воевали в составе английской армии во время Второй мировой войны и участвовали там в переброске оружия в Китай, занятый японцами.

По «бирманской дороге» мы доехали до арабского села, из которого были уже выбиты арабские части — население бежало. Часть нашего батальона отправилась брать деревушку Цуба, расположенную недалеко вдоль дороги к Иерусалиму. Мой взвод остался защищать дорогу. Командир объяснил нам наглядно нашу задачу. Он отчеркнул ботинком место в десяти шагах за окопами и сказал: последняя линия отступления здесь, здесь умирайте.

На четвертый день наши взводы, ушедшие к Цубе, вернулись. Село было взято. Теперь пришла наша очередь атаковать. Нашей задачей было взять арабское село Ялу. Первая рота двинулась вперед, моя вторая осталась, чтобы двинуться вперед после того, как они войдут в Ялу. Окопались, залегли. Была совершенно необыкновенная ночь, потому что нас обстреливали фосфорными пулями. И ты видишь, как они летят. Казалось, что над тобой кружится рой светящихся пчел. И нескончаемое количество ракет разного цвета, а на земле беспрестанно движутся разноцветные тени от них. Я лежал в окопе с еще одним парнем, Йохаем. И сказал: как красиво! Он внимательно посмотрел мне в лицо, решив, что, быть может, я начинаю биться в истерике. А я ему улыбнулся, потому что причина была в одном: это действительно очень красиво.

Часа через два-три по рации поступает приказ: «Немедленно вперед! Первая рота в беде». Оказалось, наша разведка сплоховала. Во время перемирия арабы построили новую обходную дорогу, и по ней в горы поднялись броневики Легиона. Первую роту возле Ялу встретили пулеметным огнем, и одним из первых пулю в лоб получил радист. Темень, скалы. Он упал где-то, рацию долго не могли найти, чтобы сообщить о беде.

Моя вторая рота начала отступать — медленно, потому что пропускали вперед раненых. Кончилась ночь, и началась зверская жара. Хамсин. Мы передали воду раненым, а сами начали чуть ли не падать в обморок. К счастью, молодость помогала. Мне было еще семнадцать, средний возраст бойцов — меньше двадцати. В конечном итоге мы добрались до шоссе, где стояли уже машины с водой. Я тогда получил определенную лекцию в жизни. Потому что ухватился за ушат воды и пил ее, обливая себя, но вдруг услышал голосок такой чиновный: «Не надо пить так много, когда ты вспотел».

Я взглянул на говорящего: такой чиновный молодой человек в очень чистой одежде — а можно себе представить, как выглядели мы после такого боя. Я реагировать не стал, продолжал пить. И он начал орать: «Им говорят, что не надо пить слишком много, а они как об стену горох, даже не отвечают! Невежливо!»

Тогда уж я оторвался от своей воды и покрыл его русским матом, по-настоящему бандитским, выученным мною со времен Самарканда. Который он не понимал, конечно. Но отшатнулся и исчез с моих глаз.

Но в молодости быстро восстанавливаешься. Прошло несколько часов, командир роты вдруг крикнул: «Выходим на следующую акцию. Цель — отрезать шоссе из Рамаллы в Латрун, отомстить за поражение. Идут только добровольцы». Я поднял руку. Мы вышли, человек сорок-пятьдесят, из двух взводов; тащили с собой два тяжелых пулемета BESA. Целую ночь двигались, а к утру появились на главном шоссе Латруна. И грохнули из пулеметов по машинам. Там заметались, забегали, грузовики начали переворачиваться. На нас развернулись все орудия Латруна, вскоре прибыл отряд Легиона. Атаки Легиона следовали одна за другой.

К утру нам прислали замену — втрое больше по численности, комплимент своего рода за то, что продержались так долго таким малым составом.

В таких кровавых переделках мы больше не участвовали — центр боевых действий сместился на юг. Нас перебросили туда, но там скорее были стычки, чем бои…

Отдельно стоял вопрос о пленных. Наших пленных, между прочим, не трогали. Потому что они главным образом попали в руки Легиона, который подчинялся английским офицерам; если они захватывали кого-то в плен, он оставался в живых. С нашей стороны это иногда было по-другому. То есть в большинстве отрядов не были готовы что-то нехорошее сделать с пленными, но случалось и иначе.

Особенно плохо в этом смысле обстояли дела уже в следующей войне, когда мы явно были сильнее арабской стороны. В той войне я был на южном фронте. Египетская армия беспорядочно отступала, и главная задача моего разведотряда в том и заключалась, чтобы собирать пленных по всему Синаю и передавать в штаб батальона.

Через какое-то время мы заподозрили неладное: что, по-видимому, не всех пленных отправляют в лагерь, а некоторых убивают. И занимается этим арьергард. Люди, которые не участвуют в сражениях в составе боевых бригад, чувствуют себя часто не очень мужественными, что ли. И поэтому они бывают иногда куда более жестоки, доказывая, что они — настоящие мужчины.

В Войне за независимость мы воевали чаще ночью, а днем приходили в себя; здесь, наоборот, воевали скорее днем, а вечером возвращались в лагерь. Пили свой чай, ели, спали. Утром уходили обратно в пустыню ловить пленных и возвращались к ночи. Как-то, вернувшись, я подошел к полевой кухне налить чаю. Было холодно до чертиков; зимой пустыня вообще — холодное место, дует зверски. Возле кухни толпились солдаты, и я услышал разговор о том, что всех этих арабушек надо убивать. Чего с ними цацкаются, в плен берут, ставят на довольствие. Я вмешался. Сказал громко — а в пустыне голос далеко слышен:

— Надо избить идиотов, которые убивают пленных. Им что, хочется валандаться здесь месяцами? Война закончена, время прекратить бои!

На меня зло оглянулись; я продолжил; постепенно настроение менялось — видимо, я задел за живое. В разговор вступили те, кому не нравилось, что происходит с пленными. Зазвучал хор голосов: правильно говорит разведчик. Бить по морде надо идиотов, которые убивают пленных.

У меня всегда было что-то скаутское во взглядах. Вера в чистоту еврейского оружия — выражение, которое часто употреблял первый командир «Пальмаха». Не трогать пленных — это среди прочего и значит хранить чистоту еврейского оружия…

После завершения Войны за независимость я освободился от армии; мне выдали семь фунтов, шинель и кровать. Кровать я им оставил, потому что сами посудите: что мне делать с кроватью, если у меня нет дома? И налегке поехал в Иерусалим. Университет еще не был там, где он теперь, на горе Скопус: ее еще окружал арабский Легион. И нам отдали на переходный период огромное здание францисканского ордена.

Длинные коридоры. На всех стенах записки — разные факультеты объясняли абитуриентам, чем они будут заниматься. Меня потрясло все, что я там увидел, — после долгих боев. В том числе меня изумляла неадекватность списков курсов, объявления о которых висели на стенах. Вступление в... Подход к... Я себя считал очень взрослым; мне было почти что восемнадцать; я был фронтовиком, а они мне подсовывают такую чушь.

Так что шел я вдоль длинной стены всех этих бумажек и злился. Но в самом конце я обнаружил небольшое объявление: набор в школу социальной работы. Темы: социология арабского меньшинства, проблема рабочих мест среди палестинского населения. Психиатрические заболевания и реабилитация. И в этом духе. То есть ровно то, о чем я хотел узнать в новой для себя стране. Я также не знал, что такое социальная работа. Но решил: там разберемся — и отправился на факультет, располагавшийся в отдельном здании. Подхожу к секретарше, вытаскиваю мои военные документы. Она смотрит-смотрит и говорит мне: вам восемнадцать? Я говорю: да. Она отвечает: приходите через два года. Наше направление требует взрослости.

Я зубы сжал, покраснел, постучал по своему значку коммандос: «Я вам недостаточно взросл? Воевать — достаточно, а вам — недостаточно?» Теперь уже она покраснела, выскочила из-за стола: «Ждите». И побежала к двери директрисы школы, на которой значилось «Госпожа доктор Ицкович». Вернувшись, сказала: вас принимают в виде исключения.

Так я попал в школу социальной работы, где преподавали лучшие профессора того времени — Айзенштадт, будущий король социологии, Патинкин, будущий король экономики, и так далее. По закону тех времен половину времени обучения будущие социальные работники проводили за практической работой; меня отправили в бедняцкий район Иерусалима, где жили урфали, то есть малограмотные и бедные евреи — выходцы из Урфы. Район был трудным и грязным; нечистоты еще плыли по улицам. К счастью, моей практикой руководила женщина, которая до того была секретарем женского профсоюза и знала, что такое человеческие отношения. Для меня это была крупная удача и необыкновенно ценный период познания страны и ее проблем.

Зато с распределением вышла проблема. Через полгода я сцепился с директором школы, госпожой доктором Ицкович, которая была довольна моей учебой, но недовольна моими взглядами. Она меня вызвала, я увидел лежащую перед ней развернутую газету. Первым ее вопросом было: это что? Я посмотрел через ее плечо, увидел, что это газета левых социалистов — партии МАПАМ, в которой сообщалось, что съезд активистов «Молодой гвардии» открыл новоизбранный краевой секретарь товарищ Теодор. И сказал: в нашей борьбе с американским империализмом и за защиту бедной части нашего населения… и так далее, и так далее, и так далее. А я знал, что госпожа Ицкович была членом конкурирующей партии власти. Она спрашивает: «Это вы?» — «Это я». — «Как вы, стоя на таких позициях, собираетесь заниматься социальной работой?» — «Хороший социальный работник не может не быть социалистом».

Мы поорали друг на друга, разошлись; она попыталась поставить на педсовете вопрос о моем исключении, но большинство преподавателей ее не поддержало. Отношения, разумеется, были напряженные. Когда нам выдали дипломы, было объявлено, что мы должны отработать бесплатно три месяца. Я сказал тогда, что дома меня учили: если тебе не платят за работу, значит, тебя не уважают. Мне не нужны деньги. Но я жду уважения. На что госпожа Ицкович с радостью отказала мне в разрешении на работу.

И я отправился на стройку, где очень быстро понял, что не гожусь для этого дела, потому что у меня были руки интеллигента и я натирал их до крови. Я не справлялся с работой, в отличие от тех, кто привык таскать и копать. Но, сжав зубы, продолжал трудиться. Однажды в автобусе я встретил знакомую социальную работницу из Тель-Авива.

— Ну, как ты? Уже закончил? Где работаешь?

— На стройке.

— Ты что? Или ты не знаешь, какая нехватка социальных работников в этой стране? А ты играешься в какие-то игры джеклондоновские. Завтра приходи к нам.

Назавтра меня наняли на работу, для названия которой нет ни русского, ни английского соответствия. Я должен был заниматься молодежью, которая ведет себя криминально, но криминальной не является. Это «клиенты», которых еще не судили, но которые ведут себя как будущие уголовники. И там, на этой работе, я встретил удивительную команду немецких евреев. Выходцы из Германии были крохотным меньшинством в Израиле, но сыграли необыкновенную роль в его развитии. Мы их называли екес, потому что когда они говорили между собой (всегда по-немецки), то мы это слышали как «ек, ек, ек, ек, ек». Но очень уважали. Они были необыкновенно вежливы, по понятиям израильтян. Их иврит был другим, потому что он был полон учтивых слов. Они пришли к нам из другого мира, в котором Канта каждый знал и слегка цитировал…

Тогдашний Тель-Авив был еще маленьким, но уже очень современным городом. Благодаря борьбе с английской властью возникла какая-то неформальность и близость между людьми. Было нормально заговорить с чужим на улице. Он с ходу реагировал как человек, который тебя знает, хотя он тебя никогда не видел. Были повсеместная взаимопомощь, спокойная вежливость, чувство патриотического взлета. Хотя не у всех. Я как-то зашел к моей кузине, работавшей в аптеке; зашел разговор о сыне ее хозяев, который учился в Бельгии и был старше меня на пару лет. Я спросил: когда он возвращается? Они удивились: зачем возвращаться? Я говорю: что значит зачем? Есть приказ о мобилизации. Они возмутились: как я смею думать, что он бросит учебу просто потому, что Война за независимость. Я обалдел. Я приехал из таких далеких краев воевать, а они тут... Но было и другое, настраивающее на оптимистический лад. Добрые буржуйские семьи пробовали прятать своих детей, а дети не прятались. И шли добровольцами на фронт.

Кстати, на войне около нас воевала одна религиозная бригада. Они ели по-другому, соблюдали кашрут, и молились. Но мы, левые, были едины с ними в патриотическом порыве и не чувствовали никакой разницы. С другой стороны, постоянно шли разговоры о том, что в старом Иерусалиме живут глубоко религиозные люди, которые ненавидят нас за то, что мы воюем за независимость, и сопротивляются ей: лучше быть под англичанами, чем под сионистами. Они также отказывались говорить на иврите, употребляя только идиш. Ходили слухи, что когда один из наших взводов кинулся через Старый город, подавляя атаку арабов, их забросали камнями, так как атака была в субботу и в субботу они не должны были воевать. Так это или не так, но помню случай, как религиозники напали на машину, перевозившую молоко в Иерусалим из Цубы (где учредился кибуц), и вылили молоко. Потому что в субботу нельзя работать. После чего по вызову союза «Пальмаха» мы кинулись на них. И была отчаянная драка, полиция нас разделяла...

В то время я работал в «Мальбене», еврейской филантропической организации, которая переняла ответственность за социальную помощь еврейским иммигрантам-инвалидам. Это разделило социальную работу в Израиле меж «Мальбеном» и властями. Я работал в туберкулезной больнице, а позже принял ответственность за реабилитацию инвалидов в Негеве — южном регионе страны.

Я параллельно возобновил учебу в университете и в ней сильно почувствовал нехватку знания английского языка. На каком-то этапе я попросил своего руководителя об отпуске на четыре месяца, чтобы посмотреть на социальную работу в Англии (Британия считалась лучшей по вопросам реабилитации инвалидов, что меня особо интересовало) и чтобы подучить английский язык. Благодаря его щедрости провел в Британии девять месяцев, научился уважать Англию — и вернулся работать в Израиль. Думал, что навсегда.

Но далее на каком-то этапе я сцепился с властями. Предыстория была такая: эксперт ООН, британец, отличный специалист по реабилитации, предложил израильскому правительству построить реабилитационный суперцентр, а меня назначить руководителем. Я попросил показать мне план строительства нового центра, посмотрел внимательно — и взлетел в воздух. Они планировали строить центр реабилитации — внутри больницы для хронических больных! Главное в реабилитации — привести человека к пониманию, что он — не бедный и несчастный. Он — тот, который может. А тут его помещают среди людей, которые прикованы навсегда к постели.

Мне сказали, чтобы не лез не в свое дело. Тогда я потребовал встречи с министром труда. Мне ответили, что он очень занят. Что же; я отправился в Иерусалим, заявил секретарю министерства: «Я хочу видеть заместителя министра, ответственного за реабилитацию». Услышал то же самое: «Он занят». Тогда сказал: «Зайди к нему и скажи, что, когда он был заместителем командира бригады “Ифтах”, я служил в шестом батальоне и требую аудиенции». Он зашел в кабинет, доложил. Выскочил весь красный: «Заместитель министра примет вас через двадцать минут. Кофе? Чай?»

В итоге мне пообещали, что соберут заново тот комитет, чтобы рассмотреть дело. Но так и не собрали. Теперь думаю, что я был еще очень наивным, не понял, что за то, чтобы стройка состоялась именно в том месте, которое чиновники выбрали, была, быть может, дана взятка. Тогда я заявил, что ухожу — как из этого проекта, так и вообще из системы Министерства труда. На мне уже была черная метка «левака». А если такой неблагонадежный человек уходит из-за дурацких принципов, этого ему никогда не забывают.

И тут я вспомнил о письме из Бирмингемского университета, полученном за полгода до того. В нем предлагали стипендию, от которой я тогда отказался, так как счел, что не могу отвлекаться от работы над созданием центра реабилитации. Я начал искать работу, но написал в Бирмингемский университет: «Коллеги, понимаю, что стипендия давно ушла, но, если что-нибудь такое появится опять, я буду заинтересован». На это пришла ответная телеграмма. (Тогда еще слали телеграммы.) Что кто-то отказался и осталась одна вакансия — в центре изучения Восточной Европы. И если я теперь же вышлю мои данные, то меня рассмотрят. Получив эту стипендию, я выехал в Англию.

Там меня спросили, какую тему я хочу взять. Я ответил: интеллигенция в русской революции. Уточнили: а как я буду это изучать? Я сказал — и им сильно не понравилось. Методологически это были твердые позитивисты: факты, факты, факты. Учеными они были весьма солидными, но не очень хотели заниматься миром идей, «сферой духа». И я пошутил: «А вы чего хотите? Чтобы я изучал корреляцию между количеством коровьих хвостов и цветом глаз девушек на Украине?» Сам я смеялся над шуткой. Они не смеялись — у них загорелись глаза. Сельское хозяйство! В последние двадцать лет во всей Англии не было ни одной докторской работы по русскому сельскому хозяйству.

Мы разошлись, чтобы все обдумать. Наутро я вернулся и сказал:

— У меня очень неудобное чувство. Моя страна, то есть Израиль, не дала мне стипендию. А вы дали. А теперь я с вами лаюсь вместо того, чтобы поблагодарить. Так что, во-первых, спасибо. А во-вторых, черт с этим, буду писать про коровьи хвосты.

И сел начитывать материал. И чем глубже я залезал в тему «русское крестьянство и революция», тем меньше понимал в вопросе, который я определил как причину победы пролетарской партии большевиков в Гражданской войне: восемьдесят процентов населения были крестьянами. Но тут мне опять повезло — к одному из моих супервайзеров, Бобу Смиту, обратились с просьбой перевести книгу Чаянова на тему крестьянского хозяйства. Боб меня все время спрашивал: как это слово лучше перевести? А это? Так что Боб работал, а я все время смотрел через его плечо — и постепенно стал видеть свою проблему иначе.

К концу моей двухгодичной стипендии мне предложили продлить ее еще на год, но я стал проглядывать газетные объявления и напал на объявление Шеффилдского университета, искавшего человека, готового создать курс, которого не было в Англии: социология третьего мира. На собеседовании я объяснил, что с точки зрения социологии самое важное — что в третьемирских странах большинство населения — крестьянское. Ответ понравился, меня назначили.

Вообще говоря, левые относились тогда к крестьянству с предубеждением. Вплоть до начала вьетнамской войны, которая многое изменила в этих спорах, я спорил с ортодоксальными марксистами по крестьянскому вопросу. Такие, как я, говорили: мы — социалисты. Американская война против Вьетнама многое изменила; меня она просто взбесила. Сама идея, что против крестьян, вооруженных только винтовками XIX века, можно использовать авиацию и напалм, была для меня недопустимой. Скауты не только не бьют слабых, но и не разрешают бить слабых. А Хо Ши Мин был для меня самым приемлемым в то время из вожаков третьего мира. Когда у них не получилась коллективизация, он объехал большую часть Северного Вьетнама, лично извиняясь перед крестьянами за то, что произошло. Такой марксизм мне очень подходил. Когда в России не получилась коллективизация, начали стрелять кулаков.

Так что я всей душой вошел в движение в защиту Вьетнама. Довольно быстро стал председателем организации в моем Шеффилдском районе. Настал день, когда американцы начали бомбить Камбоджу. В то воскресенье я приехал в Лондон, где по субботам проходили демонстрации под привычным слоганом «Мир во Вьетнаме». Я увидел более двадцати тысяч человек под новым слоганом — «Победа Вьетнаму». Я шагал в их рядах. Мой тысяча девятьсот шестьдесят восьмой сильно связан с этим, конечно. Я также сблизился с английскими «новыми левыми». И сообразил, что этика определяет мою позицию не меньше, чем социологический или политический анализ.

Это был хороший период. На мои лекции ходило куда больше людей, чем было записано, темы были интересные. Но главное — общественная жизнь. В 1968-м я на два года перебрался в Бирмингем, потому что у них ушли все социологи и они попросили Шеффилд меня одолжить. В то время там началась студенческая забастовка, которую стоит описать. Новый ректор, медик из Шотландии (медики у нас были часто консерваторами), отказал студентам, попросившим студенческого представительства на заседаниях сената. В течение следующих двадцати минут он получил сидячую забастовку, то есть студенты оставались в кампусе. И вызвал полицию, чтобы убрать бастующих из кампуса. На что полиция ответила, что это не их дело. Английская полиция не занимается тем, что выбрасывает студентов из университета.

Студенты засели в университете. А мы, преподаватели, примерно сорок человек с разных факультетов, создали комитет защиты студентов. Чтобы, если полиция передумает, встать меж студентами и полицией. Для верности дела я остался ночевать в своей университетской комнате. В полночь я пошел смотреть, что происходит в главном здании университета. Пикеты удерживали двери, но меня пустили. Там лежало на полу человек четыреста, громкоговоритель, предназначенный для трансляции церемоний, играл «Интернационал». И четыре девчонки, две пары, танцевали твист под «Интернационал». Для меня 1968 год — это в главном те девчонки, танцующие твист под «Интернационал». Столько в этом было легкости, хорошего настроения и дружелюбных отношений… На следующий день после жестких переговоров ректор отменил запрет на участие студентов в заседаниях сената. И поблагодарил всех за то, что они вели себя так цивилизованно. Потому что, покидая помещение, студенты вымыли окна и полы. И только после этого передали ключ представителю университетских властей.

Но в целом по стране ситуация оставалась напряженной. Воскресные демонстрации проходили каждую неделю; в них участвовал и я. Однажды член французского парламента, правый, заявил: «Нам не будут указывать, как жить, немецкие евреи» — намекая на происхождение лидера парижского студенчества Кон-Бендита. Назавтра студенты маршировали по улицам Парижа, скандируя: мы все — немецкие евреи, мы все — немецкие евреи. И мы в Лондоне устроили марш солидарности. Наши студенты начали скандировать: «Мы все — немецкие евреи!» Вдруг вспомнили, что я иду в первых рядах, и уточнили лозунг: «Мы все — немецкие евреи, кроме Теодора!»

Шестьдесят восьмой был приятен тем, что много шутили. Это не была борьба с кровью на асфальте. Это была веселая борьба. Кроме, может быть, Италии, где было создано практически партизанское движение.

Что было результатом 68-го? Изменение общей атмосферы произошло, но законодательства практически не изменились. В университетах большинство требований студентов было принято. Общество в целом стало менее формальным, что было особенно заметно в Англии. Я галстука не надевал и раньше, но этим выделялся. Помню, я услышал, как моя секретарша объясняет кому-то, как меня узнать: он будет единственным человеком без галстука. Сегодня вид профессора без галстука лишь подтверждает, что он и впрямь профессор.



# Глава 5. Здесь и сейчас

Из Англии я вернулся в Израиль, снова думая, что навсегда. За три года моего отсутствия произошли серьезные перемены: левое движение, частью которого я чувствовал себя, фактически распалось под ударом победной для Израиля войны 1967 года. Для принципиальной оппозиции против правительства нет более трудной вещи, чем война, в которой побеждаешь…

По приезде в Израиль я начал работать в Хайфском университете, хотя жил в Тель-Авиве; приходилось все время мотаться туда-сюда; к счастью, в Израиле все близко. В Израиле того времени расклад с высшим образованием был такой. В Иерусалиме был важнейший университет страны. Университет Тель-Авива считал себя самым важным, потому что он самый крупный. А университет в Хайфе был самым новым и по составу учеников не только еврейским, но также арабским, что было для меня немаловажно. Вокруг Хайфы проживало большинство арабского населения Израиля. Как результат этого, 10 процентов учеников университета были палестинцы (которых в Тель-Авивском университете было тогда меньше одного процента). Отношение к арабскому населению становилось важнейшим элементом политики страны. Закончилась вторая война, израильтяне получили очень много арабских земель и, конечно, зажали всеми силами арабов. Стоял вопрос, что делать дальше. Среди евреев меньшинство, к которому и я принадлежал, считало, что надо обменять эти земли (с крупным добавочным арабским населением) на мир. Правительственные круги думали по-другому.

Едва ли не первое, с чем я столкнулся, — конфликт на заседании университетского совета, членом которого я стал автоматически, благодаря профессорскому статусу. Трое коллег, членов совета, заявили протест по случаю того, что ректор снял с работы араба — младшего преподавателя за то, что его брат был членом арабской националистической ассоциации. Позиция этих коллег была такая: мы не суд, и действовать карательно — не наше дело. Есть суд, пусть разбирается, если наш преподаватель что-то незаконное сделал. А если он — просто брат того-то или кузен того-то, это ненаказуемо, а если наказуемо, то это черт знает что, это искривляет всю юридическую систему новой страны.

Впервые придя на заседание, я был с ходу поражен тем, насколько израильский университетский совет отличается от сената Шеффилдского университета. В Хайфе они орали друг на друга. (Впрочем, в английском парламенте тоже орут, но это показное.) Там черт знает что творилось. В разгар дебатов об исключении из состава преподавателей араба за то, что брат его не понравился полиции, кто-то выкрикнул цитату то ли из Библии, то ли из Талмуда, что ты не разрешишь змеям жить в твой среде. Я так и взлетел со своего стула: «Не смей называть людей змеями только потому что они других убеждений или национальности». Он закричал про свободу слова. Заседание с ходу превратилось в скандал.

Результаты голосования меня потрясли. В защиту уволенного публично выступали немногие — четыре члена совета, включая меня. Но при подсчете выяснилось, что против ректора проголосовали четырнадцать человек, примерно треть. Это значило, что одиннадцать человек промолчали, но, когда дошло до голосования, высказались против увольнения. Для меня это был какой-то новый Израиль. Тот Израиль, из которого я уезжал в Великобританию, был сравнительно либеральным, спокойным, дружелюбным, левые спорили с правыми, но все ощущали, что они вместе. Это ощущение начало таять.

После заседания ко мне подошел один из промолчавших; мы знали друг друга давно. Он спросил:

— Что скажешь, Теодор, про результаты голосования?

Помню, что я ему ответил:

— Уверен только в одном: если завтра безграмотный и слепой араб придет в этот университет просить места профессора, они не посмеют ему отказать без серьезных размышлений.

Раздался хохот, шутка разлетелась по университету.

Три года я провел в Хайфе. Не все шло гладко — я-то рассчитывал работать с великим социологом Зигмундом Бауманом, который ехал преподавать в Хайфский университет и пригласил меня присоединиться к нему. Но Бауман от Хайфы отказался. А я стал негласным патроном левых среди преподавателей и студентов — это определилось моим профессорским статусом. Студенты создали организацию, состоявшую из политически левых, и в ней выделялись члены кибуцев, арабы и особо многочисленная группа студентов из Латинской Америки, свежеприбывших в Израиль. Свою организацию они задорно назвали Yesh, что на иврите значило «Мы есть». Мы начали выпускать газету, которую назвали Post Mortem; она стала самой читаемой университетской газетой в Хайфе.

В то время в Латинской Америке наступил период военных диктатур; так называемое Еврейское агентство (Сохнут) поступило умно, заявив об особой, облегченной, визе для молодых евреев, желающих учиться в Израиле. Многие из них потом вернулись, когда кровавые диктатуры в Латинской Америке начали исчезать, но во время моей работы в Хайфе они были очень важной и очень боевой частью организации Yesh. С их помощью Yesh и впрямь начала «сотрясать устои», и впервые в истории Израиля левые выиграли выборы в правление студенческого союза Хайфы.

Преподавать в Хайфе, в новом, создающемся, университете, было интересно. Для меня профессионально это был особо важный период, когда у меня определилась новая центральная тема исследовательской и преподавательской работы: ей стала социология познания, которая дала мне интересное профессиональное поле, оставшееся таким до сих пор. Мои латиноамериканские студенты превратили мои лекции по социологии знания в важнейший для них элемент обучения — мой курс социологии знания стал для них трибуной, на которой они прорабатывали заново то, что произошло с ними в Латинской Америке и в Израиле. Мои классы удвоились, на них присутствовали как зарегистрированные студенты, так и те, кто учился на других факультетах, но не пропускал ни одной из моих лекций. Когда и они, и я оказались вне Израиля, мы продолжали поддерживать дружбу — многие из них стали известными профессорами, я тогда часто читал лекции в Бразилии.

Политически все это время я делал что мог, чтобы вернуть Израиль к тому состоянию, в котором я его первоначально встретил. Я тогда подружился особенно с тогдашним президентом Комитета защиты прав человека в Израиле Исраэлем Шахаком. Он был естественником, профессором химии, который переквалифицировался в обществоведа. Также стал прекрасным самообученным теологом, поскольку рос в религиозной семье и получил серьезное теологическое образование. Он вел систематическую умную борьбу против политизированной еврейской религии, которая начала все более диктовать жизнь Израиля.

На третий год своего пребывания в Израиле я пришел к выводу, что нет способа удержать страну от разворота в сторону политики национализма, которую поддерживало большинство еврейского населения. Я точно видел, что крайне правые придут к власти; я все же социолог, что давало мне ясное видение этой перспективы. Моей первой идейной реакцией была публичная лекция «Сионизмы Израиля», в которой я пробовал объяснить идейный поворот и логику дальнейшего развития страны.

Смысл лекции заключался в том, что были два сионизма в Израиле, хотя мы этого не понимали. Один сионизм — либеральный и другой — полнокровно-националистический. В существующих условиях второй был по-своему более логичен, потому что национализм чувствует себя лучше, когда он крайний. Но я не могу это принять. И завершил тем, что собираюсь уезжать из Израиля. Я лично ничего не остался «должен». Я приехал защищать Израиль и честно воевал в двух войнах. Я не получил за это ничего, но и не требовал ничего. Кроме одного: чтобы Израиль был той страной, о которой я мечтал. Жить в Южной Африке (в понимании тех времен, конечно) я не готов. Болезненно, конечно, даже очень. Но я уезжаю.

Я написал английским друзьям, что ищу работу, — и они отреагировали с ходу. Для начала мне предложили fellowship в Колледже святого Антония в Оксфорде. Затем избрали профессором Манчестерского университета. Я начал новый курс — социологию знаний, которой увлекся в Хайфе.

В связи с исследовательской работой по русскому крестьянству я уже ездил в Россию. Началось с того, что мои супервайзеры отправили меня в Финляндию, где было роскошное собрание русских книг еще с царских времен, когда четыре университета получали обязательный экземпляр — в Москве, в Киеве, в Петербурге и в Хельсинки. Я переснял всю земскую статистику, которая лежала в Хельсинки. По пути в Финляндию заехал в Москву и остался там на две недели благодаря договору между двумя академиями наук — британской и советской. В то время с английской стороны стипендии были не очень востребованы, потому что мало кто стремился в СССР. Была у меня и личная цель: проверить эмпирически, пустят ли меня как бывшего спецпереселенца в Россию. Пустили.

Я познакомился с выдающимся социологом Татьяной Заславской. И близко сошелся с Виктором Даниловым, который был лучшим специалистом по крестьянству в России.Само это знакомство произошло при характерных обстоятельствах.Меня направили к заместителю директора Института истории СССР по иностранным отношениям. Не назову фамилии, потому что он еще жив. Он сказал мне, как он счастлив, что я приехал, и как Россия счастлива, что я приехал в нее. После чего выложил на стол список имен: «Вот те, с которыми, мы думаем, вы должны встретиться». На что я вытянулся во весь рост и заявил: «Вы заблуждаетесь, господин N». Он: «В чем?» Я: «Я не ваш подданный. Я — гражданин Великобритании. И поэтому людей, которых я хочу встретить, я буду сам себе выбирать». Собеседник пошел на попятный:

— Что вы, что вы, мы ничего не диктуем. Конечно, вы сами выбираете.

— Ну хорошо, — я сказал. — Первый, с кем я хочу встретиться, есть человек, которого я не знаю. Но его книги — блестящие. Его зовут Виктор Данилов. И он в вашем институте, я видел его в списке сотрудников.

— Данилов, к сожалению, болен.

Ладно. Я пошел по коридору, увидел дверь, на которой написано «Аграрный отдел». Постучал, вхожу. Сидит человек и печатает одним пальцем на машинке.

— Я ищу профессора Данилова.

— Я Данилов. А в чем дело?

— Я вас читал, хотел встретиться. Вы меня, конечно, не знаете, меня зовут Теодор Шанин.

— Что вы! — ответил он. — «Неудобный класс», не так ли?

Выяснилось, что в СССР иностранные книги, посвященные советским вопросам, сокращенно переводились или реферировались; их рассылали специалистам — так моя первая книжка попала к Данилову. Со временем он стал моим самым близким другом в России, и я до сих пор горюю, что его больше нет.

Мы работали с Виктором Даниловым очень близко, а на более позднем этапе решили сделать общий проект, в котором он выступит как историк, а я — как социолог и мы подготовим книгу, посвященную русскому крестьянству 1890-х — 1930-х. Когда я создал Московскую высшую школу социальных и экономических наук и стал ее ректором, Виктор перешел работать в нее, руководя проектом группы молодых историков, которые начали писать историю сельской России разных регионов, а моя группа параллельно исследовала их в рамках социологического проекта по сельской России. Мы еще крепче подружились — нас в немалой мере связывала общая история молодого солдата в разные периоды и в разных странах: России и Израиле. Виктор Данилов тоже ушел на фронт совсем молодым. Ежегодно в День советской Победы над нацизмом мы встречались и выпивали по стопке водки. Наш личный праздник.

Не могу не сделать отступление и не сказать о том, как он умер. (Для меня это до сих пор тяжелая потеря. Он был самым близким мне человеком в России, я думаю.) На одной лестничной клетке с Виктором жил сумасшедший. Его то держали в больнице, то выпускали; он пьянствовал; он не любил Виктора, и Виктор его не любил. И этот сукин сын, напившись, стукнул Виктора по голове. Вдова мне рассказывала: Виктор вошел, сказал, что его ударили; ну, чепуха, прилягу отдохнуть, немножко оправиться после удара, потом поеду на работу. Лег — и впал в кому. Все. В больнице сделали все, чего нельзя было делать; в итоге лишь приблизили его конец. А когда его надо было хоронить, оказалось, что для него нет места на кладбище, до которого его семья может доехать. И мне пришлось дать взятку крупную, чтобы его хотя бы положили в нормальном месте…

Гибель Виктора была для меня тяжелым личным ударом. Потеряв столь близкого мне друга, я решил не продолжать наш проект. Я лишь закончил вместе с коллегами том, посвященный махновскому движению.

Были у меня и другие огорчения в России, оставлявшие тяжелый осадок на всю оставшуюся жизнь. В один из первых приездов я шагал по московской улице и увидел человека на дощечках. Вся грудь в орденах и медалях. А он сидел с шапкой на этих чертовых дощечках и просил милостыню. Я должен сказать, что Англия очень хорошо относится к бывшим солдатам. Израиль прекрасно относится. Если ты — бывший солдат, получивший ранение, в Израиле за тобой ухаживают изо всех сил. Я не очень понимал, что в других местах может быть по-иному. И когда я увидел этого человека на дощечках, протягивающего руку, я высыпал все деньги, которые у меня были в кармане, в его шапку. И весь день чувствовал себя больным. После этого сказал все, что думаю об этом, — и в институте, и всем моим русским друзьям. И убрался из России побыстрее. Потом взвесил все, решил, что ездить туда все же нужно: я в России работаю над добрыми вещами, не играюсь. Не для балета приезжаю. Хотя балет люблю.

Но тень легла. И мое отношение к России изменилось только в перестройку. Это был период огромного оптимизма, невероятной открытости. До того люди боялись со мной говорить; сама идея пригласить меня домой к себе не могла прийти в голову. Иностранец… Для спокойствия моих коллег я старался не встречаться с ними в университете; с тем же Даниловым мы пересекались около метро и говорили, гуляя по улице. Это была моя инициатива: если ты по-человечески относишься к своим советским коллегам, ты должен их беречь. У меня даже вышел скандал с несколькими американскими профессорами, которые поступали как им было удобно: публично задавали опасные вопросы, на которые человек не мог прямо ответить, а если отвечал, то подставлял себя.

Поэтому для меня перестройка — изменение моих отношений с Россией. И, вообще-то говоря, счастливое время. Одно из самых светлых воспоминаний: тогдашний президент Академии сельскохозяйственных наук Александр Никонов обратился ко мне с просьбой. Пришли бумаги на реабилитацию Чаянова, к которым он приложил руку и очень тем гордился. И было бы очень хорошо прочесть генеральную лекцию о Чаянове. «К сожалению, вы видите, Теодор Матвеевич, — так он меня звал, — у нас как-то нет людей, могущих это сделать. Вы могли бы прочитать такую лекцию перед руководством ВАСХНИЛ?». Я ответил: «Конечно, с удовольствием».

В назначенное время пришел, полагая, что будет человек 10, по числу вице-президентов ВАСХНИЛ, и увидел до отказа заполненную аудиторию, в которой было около семисот человек. Примерно триста сидячих мест, остальные стоя, плечом к плечу.Что, конечно, подняло во мне волну очень сильных ответных чувств. Я говорил в институте, в котором работал Чаянов. Быть может, с места, где он сам лекции читал. И говорил о нем первый раз после многолетнего — и полного — замалчивания. То есть открывал разговор о Чаянове на его родине. Помню, как закончил:

— Я адресуюсь к ученым: у нас особая стезя. Мы принадлежим миру мысли. Правда — хорошее дело для каждого человека в отдельности и в отношениях между людьми. Но ученые в другом положении по отношению к правде. Для них поиск правды — это их профессия. Мы присутствуем на необыкновенной встрече, когда возвращается правда к великому ученому. С общим праздником, коллеги!

Ну, они чуть не снесли потолок аплодисментами и криками. Но самое удивительное и трогательное было другое. После всего встал человек и сказал: «Я — сын Чаянова. Один из двух — мой брат погиб на фронте. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сказали». Так что для меня это было важное жизненное событие, а не просто лекция.

В тот период я снова поссорился с американцами, на сей раз с крупным американским профессором, которому я сказал: вы только берете нужную вам информацию, на эту страну и ее граждан вам наплевать. Он на меня посмотрел как на дурака и ответил: «Да, мы делаем то, что нам удобно. А тебе-то что? Ты что, русский?» Я ответил: «Нет, не русский. Но это мои друзья». И стал задумываться над тем, что могу сделать я — для России — в условиях перестройки. Когда-то передо мной стоял вопрос: чем я могу помочь Израилю? Там ответ был понятен: винтовкой. А здесь?

Для начала я договорился с Заславской и организовал для российских преподавателей семинары в Англии, посвященные английской социологии. Потому что школы преподавания социологии в России не было, обученных кадров не было: бывшие преподаватели марксизма-ленинизма просто объявили себя социологами. И ухудшили возможность создания хорошей социологии.

С этим связана одна забавная и в то же время познавательная история. После трех или четырех дней семинара я навестил русских коллег в университетском общежитии, где они разместились. И почувствовал, что что-то тут не в порядке, но мне не совсем говорили, в чем дело. Спрашиваю в лоб: «Что с вами, что не так? Вы должны мне сказать». И вдруг один русский коллега признается, что они недоедают. Я накинулся на руководство Манчестерского университета: «Вы знаете, что вы делаете? На кону отношения России и Англии!» Они мне отвечают: «Но мы же их кормим очень хорошо. Вот меню, смотрите. Никогда наши студенты не жаловались, а меню общее». Я обратно в общежитие:

— Англичане говорят, что кормят вас как следует.

— Да, они нас даже перекармливают.

— Но вы жалуетесь на то, что вы голодные.

— Мы остаемся голодными, потому что нам хлеба не дают.

Надо понимать, что англичане обеды и ужины едят без хлеба; считается, что от него толстеешь. Я распорядился дать им хлеб, и проблема голода моего семинара исчезла. Но это такой классический пример разницы бытовых культур. Так что здесь происходило не только обучение определенной профессии. Здесь проходило взаимное обучение на перекрестье культур.

А потом стало ясно, что нужно заняться университетским образованием в целом. К тому времени я объездил и обошел многие русские университеты, видел их слабости, как и силу. В математике русские блистали. В физике тоже. Но в общественных науках шла чехарда полная, там не умели обучать. Русские студенты проводили в классе в три раза больше времени, чем мои студенты в Англии. Их забивали лекциями, не оставляя никакого свободного времени. Было ясно, что здесь есть шанс для серьезного улучшения.

А у меня от идеи до ее осуществления путь короткий. Мои друзья надо мной посмеивались, говоря, что со мной нельзя затевать разговор о новых идеях. Потому что не успеешь закончить, а я уже бегу осуществлять то, о чем говорилось.

Я тут же направил письмо советскому министру образования Ягодину. Среди прочего написал: американские советники вам тоже предлагают помощь в эту минуту. Но мне сильно не нравится то, что они предлагают. Потому что они хотят парашютировать американский опыт в Россию. То есть просто взять практику преподавания в американском университете и напрямую повторить это по-русски. Что, на мой взгляд, и опасно, и глупо. Никакая страна с большой собственной культурой такого не примет. Если пойдете по этому пути, то сломаете шею и дадите повод дуракам говорить, что реформы невозможны.

А чтобы они были возможны, надо по-другому подойти к вопросу. Я ему предложил создать четыре университета. Англо-русский, американско-русский, немецко-русский и французско-русский. Чтобы каждый из них обобщил свой национальный опыт — и изучил опыт российский, определив, какую комбинацию элементов русскости и нерусскости надо предложить России на университетском уровне.

Мы встретились, хорошо поговорили. И он мне сказал: это точно то, чего мы хотим. Но только на четыре университета у нас сил не хватит. На что я сказал: ну что ж, если надо начинать с одного, то возьмем британско-русский, потому что это мне ближе, конечно. Сделаем его лабораторией для анализа успешных и неуспешных моделей. Но с расчетом на то, что со временем откроются все четыре.

Тут Ягодина сняли. Появились новый министр и новые люди в правительстве. К счастью, осталось решение, уже принятое Министерством образования, и был заключен договор между Минобром и мной. По нему русская сторона предоставляет здание для университета, места проживания для английских преподавателей, которых мы сюда притаскиваем, и десять процентов бюджета. Деньги я нашел, обойдя с шапкой и Британский совет, и Британскую академию, и многие другие структуры, которые помогали мне организовывать семинары. Насобирал семьдесят тысяч долларов. Это тогда были большие деньги. Я таких денег до тех пор не видал… Ну, Россия была тогда очень популярной; сегодня это бы уже не прошло.

Но у Минобра было ко мне еще одно условие: вы лично должны подписаться на несколько лет работы здесь, в Москве. Переезжать в Россию, особенно тогда, — это было непростое дело. Посоветовался с Татьяной Заславской, Отто Лацисом и Юрием Левадой; все они сказали примерно одно и то же: во-первых, все это доброе дело, во-вторых, без тебя начать не удастся. Вслед за тем поговорил с женой и решил, что надо — значит, надо. Я на три года как минимум приеду в Россию, чтобы запустить процесс. Ударили по рукам; русская сторона с ходу решила отпраздновать это дело. Мы с треском отметили в гостинице «Президент» начало новой операции. На торжествах присутствовали два министра образования — СССР (Советский Союз доживал свой век) и России. Один крупный чиновник, не буду его называть по имени — надеюсь, он себя и так узнает, напился и полез к нашим секретаршам. Вообще я не люблю пьяниц. Я сам малопьющий. А тут тем более пришлось вмешаться, остановить его.

Конечно, не наутро после этого, но довольно скоро мы столкнулись с серьезными трудностями. Позади был праздник, впереди — провал. Министерство образования неожиданно заявило: очень хорошо с вашей стороны, что вы выполнили свою часть условий, но, к сожалению, у нас нет здания. Москва же маленькая. Где найти здание в Москве? Я пришел в ярость, но руки не опустил, мы сумели найти себе здание. В ответ прозвучал следующий довод: как это здорово, как прекрасно, вы такие молодцы, но у нас и денег тоже нет, они не вписаны в бюджет; в будущем министерство попробует эту строку вписать, но сейчас никак нельзя. Узнав о позиции русского министерства, Британский совет приказал мне прекратить переговоры.

Должен признаться, что я с удовольствием заявил об этом министру. И внутренне простился с замыслом. Мой тогдашний заместитель Ярослав Кузьминов упрямо продолжал попытки что-то сдвинуть с мертвой точки — и сдвинул. Жал, жал, жал. И в конечном итоге создал Вышку — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». А мне все это чертовски надоело. Британский совет забрал почти все выделенные на университет деньги; на остатки суммы, которую мне позволили потратить на другой проект, я запустил академический семинар, через который прошло немало интересных русских ученых — и со многими из них меня теперь связывает дружба.

Это продолжалось ни шатко ни валко — еще два спокойных года. Но потом погибший план восстал из мертвых.

Абел Аганбегян, с которым меня познакомила Заславская (она работала когда-то под его началом в Новосибирске), уже был к тому времени ректором Академии народного хозяйства. Он пригласил меня и предложил работать не с министерством, а с ним: «Мы, Академия народного хозяйства, найдем вам место».

Тогда как раз начинало строиться это чертово здание на юго-западе Москвы, которое осталось недостроенным и которое (с дырами в покрытии) видно из моего нынешнего кабинета. История его строительства поистине драматическая: на Западе никто бы не подписал договор со строительными фирмами юга Италии, потому что ясно, кто их контролирует, и ясно, что они будут делать то, что им удобно, и не сделают того, что обещали. Так и случилось. В России тогда не совсем понимали, быть может, что есть воры и на Западе.

Тем не менее я принял предложение и собрал новую рабочую группу, мы начали создавать мини-университет. Назвали его Московской высшей школой социально-экономических наук и решили, что это будет магистерская школа. Чтобы наши выпускники прямо от нас могли идти преподавать в русские университеты. Я также договорился с Манчестерским университетом, что он готов нас валидировать (сертифицировать, подтверждать соответствие стандартам, не участвуя в разработке самих программ) и в положительном случае выдавать второй магистерский диплом, английский. Что даже превосходило мои ожидания и просьбы.

Иногда меня спрашивают: а приходилось договариваться обо всем со спецслужбами? Я отвечаю прямо: у меня нет сомнения, что был какой-то контролер от специальных служб, но, по-видимому, было также принято решение, что для них вполне достаточно нашей открытости и прозрачности. Каждый мог посмотреть наши бюджеты. Каждый мог взглянуть на наше обучение. Изучить наши программы. Я не знаю, пробовали ли контролировать моих коллег; у меня чувство, что нет, что кто-то оказался достаточно умным в службах, чтобы ограничиться «невидимыми» проверками и не лезть в наши дела. Если бы кто-то влезал слишком открыто, я бы увидел — и вся та огромная помощь, которую мы получали вначале, ушла бы.

Кстати, когда снова встал вопрос дополнительного здания, то деньги нам дал в конечном итоге Сорос. Он тоже согласился с тем, что я держу все данные открытыми. Хотя на определенном этапе у меня была с ним стычка очень серьезная. Он обозлился, но понял, что таких, как я, можно уговорить и нельзя заставить. И до сих пор относится ко мне с уважением, хотя его отношения с русским правительством сильно испортились. Ну, это не мое дело. Я не русское правительство и не английское правительство, я — Теодор Шанин.

Многие коллеги громко и ясно высказывали сомнения. И русские, и английские. «Ты куда лезешь? Ты знаешь, какая это страна?» На что я отвечал англичанам: «Я, в отличие от вас, там бывал». А русским возражал: «Вы когда-нибудь были в русском селе?» Всегда получал один и тот же смешной ответ: «Конечно, у меня там дача».

Я начал с того, что отобрал группу молодых преподавателей и послал их в Англию на полугодовую стажировку. Молодых — потому что они еще не закостенели. На полгода — потому что люди, которые едут на одну неделю, не годятся для нашего дела: нужно понять принципы, изучить их глубоко, не просто посмотреть, пожать руки и раздать улыбки. Решил, что мы начинаем тремя факультетами: социологии, права и социальной работы. А еще сделал то, что в России не все понимали, — отобрал людей для будущей библиотеки. Нашел в Англии отличную кандидатуру главного библиотекаря и не ошибся: когда я вернулся в Россию и вошел в помещение будущей библиотеки, то увидел, как он тащит на спине мешок книг. Все создал, отладил, через два года уволился, сказав: «Дело сделано, библиотека работает».

Но с остальными вышла неувязка: в течение трех месяцев после возвращения людей со стажировки у меня украли всех библиотекарей. Разобрали по адвокатским конторам, для которых библиотекарь с английским опытом — это было золото чистое. Им просто предложили двойную зарплату. После этого у меня украли двух администраторов. Осталась одна, которая мне очень помогала и теперь работает главным администратором нашей высшей школы. Преподаватели держались лучше, потому что они хотели жить в том университетском мире, который мы создавали.

Ну, наконец, нужно было обеспечить книги. Лучшая школа академических библиотекарей находится в Ливерпуле; я отправился к ним, попросил отобрать двадцать тысяч книг. Не больше, не меньше; ровно столько будет места в нашей библиотеке. И они должны покрыть все нужды трех факультетов. Они посмеялись: это самая трудная задача, которая у нас была в жизни. Тем не менее справились. А я тем временем должен был спешно обеспечить место для будущих книг; на тот момент в нашем здании имелась только комната, пустая, длинная, страшная. Вообще почти все университетские библиотеки в СССР — это тесный закуток, место с маленьким окошком, через которое выдают книги. К хранилищу никто не имел доступа, потому что разворуют. А мы с английским архитектором построили совсем другую библиотеку. Когда приезжали западные специалисты нас контролировать по линии Манчестера или просто посмотреть, у них появлялись улыбки на лицах.

Строила ее британская фирма, которая имела кое-какой опыт в России, так что не боялась неизбежных трудностей. Они заехали на нашу территорию с огромными трейлерами, полными всех необходимых стройматериалов. Я осмотрел их хозяйство, спросил бригадира: «Вы что, даже гвозди привезли? Что, гвоздей в России нет?» Он ответил: «А мы уже работали в России. Представь: ты забиваешь гвозди определенного типа. Тебе не хвастает трехсот гвоздей, чтобы закончить. Ты посылаешь человека, чтобы купил те же гвозди, — нету таких же гвоздей. Есть другие. А так работать нельзя». Выгрузили все и начали строить библиотеку.

Оказалось, что они действительно знали Россию лучше меня. Как-то меня досрочно вызывают из Англии: горит библиотека. Я первым самолетом прилетел сюда. Сгорел дом частично, огонь дошел до библиотеки. Здешние идиоты забыли вовремя выключить подогреватель воды, и все загорелось. Но произошло второе, что было хуже: когда английские рабочие выбежали наружу во время пожара, у них украли инструмент.Я им на это: «Что, конец всему?» — «Не-не-не. Инструмент уже в самолете, мы заказали, его выслали».

Ну, а дальше начался набор. Мы набрали в первый раз тридцать человек, но прием быстро увеличивался. Кое-что пришлось менять: мы закрыли факультет социальной работы, на который я возлагал такие надежды — и в силу своего биографического опыта, и потому, что это направление чертовски важно для России. Но оказалось, что у Министерства социальной защиты был свой университет, и они туда брали преподавателями только тех, кто у них кончал. Кроме того, наши выпускники, конечно, выделялись невероятно своей профессиональной непокладистостью.К концу четвертого года все они были успешны, и ни один из них не работал по профессии.

Мы закрыли один факультет, зато и открыли другой. Факультет, которого не было в России: культурного менеджмента. Причем, как выяснилось, мы обогнали Манчестер; когда я приехал туда и попросил расширить валидацию, мне с удивлением ответили: «Мы о таком не слыхали, у нас такого факультета нет». Я пошел к шотландцам, договорился с ними, и они стали нашими валидаторами. Но прошло несколько лет, культурный менеджмент преуспел, расцвел даже, и вдруг в Манчестере мне сказали: а почему вы валидируетесь у шотландцев, а не у нас? Теперь уже это возможно. На что я им ответил, грешным делом: если так, мы вас можем валидировать. Ну, там смех и грех. Но в конечном итоге они нас валидируют.

Я старался приглашать к нашим магистрантам лучших профессоров. Навсегда запомнил лекцию великого Айзенштадта, одного из ведущих социологов мира. Я представил его, передал слово, а он сказал: «Теодор перечислил мои титулы. А я теперь представлю себя своим манером. Я — учитель вашего учителя». Они зааплодировали.

А когда мне исполнилось 80, я принял решение перестать быть ректором. Ну нельзя оставаться вечно. И для университета не так уж хорошо, если старый ректор умирает на своем посту; надо поставить молодого человека. Мы долго искали, и в конечном итоге я понял, что лучший из моих деканов, как раз возглавляющий культурный менеджмент, — идеальный человек для ректорства. Идет у Сергея Зуева все очень хорошо, на мой взгляд.

Живу я в основном в Москве. Хотя езжу систематически в Англию, поскольку моя жена осталась в Кембридже. Мы, как это называется в Англии, академическая пара: наша академическая работа определяет, где мы живем.

Я — счастливый человек. Почему счастливый? Потому что мне всегда было интересно. Я делал только то, что хотел. Сделал много такого, чего от меня не ждали. Так что с биографической точки зрения я — оптимист. С точки зрения развития мира я — пессимист. В течение последнего десятилетия (а то и двадцатилетия) мир начал сползать в какую-то чехарду ужасов. Если бы кто-нибудь десять-двадцать лет тому назад сказал моим друзьям и мне, что в ближайшем будущем войн будет больше, а не меньше, что бедность останется нормой, что часть населения будет голодать даже в слишком богатых странах, я бы сказал, что он сумасшедший. И то, что лично у меня жизнь получилась, дает мне чувство вины. Которое, между прочим, сопровождало меня всегда.

В какой-то мере, я думаю, именно из-за этого я так резко кидался на каждое дело, которое казалось мне недоделанным, чтобы лично, а не через разговорчики присутствовать сейчас и здесь. И продолжаю действовать — здесь и сейчас.